

Консерватизм и фашизм в Европе 1920–1930-х годов

Когда речь идет об идеологиях, мы вынужденно используем абстрактные термины, за которыми стоят самые многообразные исторические феномены. Всем нам понятно, что слова «либерал» или «социалист» применялись к людям самых разных политических и экономических воззрений. Даже если не рассматривать все разновидности социалистических доктрин XIX–XX веков, а один лишь марксизм, то мы обнаруживаем, что взгляды ближайших друзей и сотрудников Маркса и Энгельса из рядов немецкой социал-демократии разошлись с будущими коммунистами, а сами они стали очерняться как «реформисты» и «ревизионисты». Однако и в «ленинской гвардии» обнаружились «уклоны», представители коих ненавидели и преследовали даже больше, чем каких-нибудь «реакционеров». В дальнейшем маоизм в КНР отличался от идеологии «чучхе» в КНДР, правление Кадара в Будапеште не походило на порядки Чаушеску в Бухаресте, а в самом СССР политический режим 1920-х отличался от сталинского 1930–1940-х, а «развитой социализм» 1970–1980-х никак не был неким «диалектическим синтезом» предшествующих фаз развития. Все эти режимы объединяли лишь клятвы верности единой доктрине, только трактовалась она в зависимости от потребностей места и времени.

В либерализме не было и такого единомыслия. Либералы бывали и фритредерами, и протекционистами, кейнсианцами и монетаристами, революционерами и охранителями. Нынешние «неолибералы» радикально расходятся с «социальным либерализмом» 1950–1970-х годов, не говоря уж о либералах XIX столетия. Некогда они отстаивали невмешательство государства в личную жизнь, *privacy*, сегодня проповедают ювенальную юстицию, обязательное школьное воспитание в духе «гендерного многообразия», *woke* и т.п. О быстрой перемен говорит хотя бы то, что европейские партии, именуемые ныне «фашистскими» (возглавляемые Ле Пен во Франции, Мелони в Италии, Vox в Испании и AfD в ФРГ) по своим программам близки даже не консерваторам, а либералам полувековой давности.

С консерватизмом ситуация еще более сложная, поскольку эта идеология всякий раз отсылает к традициям, а они не тождественны в разных странах да еще и в разные периоды времени. Однако при всех этих различиях в пространстве и во времени эволюция консервативных партий и движений на протяжении XIX столетия хорошо известна. Если исключить Великобританию (а вслед за ней и США), то в континентальных странах Европы консерватизм начинался как идеология сохранения монархий, иногда их реставрации, выражая интересы оставшихся сословий «старого порядка». Но к концу XIX столетия ситуация была уже иной. Развитие индустриальной цивилизации, экономическое господство буржуазии, усиление национальных государств, перешедших к империалистической экспансии и вступивших в конфликт друг с другом, – все это сказалось на политических

Руткевич Алексей Михайлович, доктор философских наук, профессор, научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: arutkevich@hse.ru



программах тех консервативных партий, которые вынуждены были приспособливаться к системе парламентских выборов, откликаться на запросы своих избирателей. Поэтому они вступили на путь, предсказанный еще в начале 1820-х годов Ф. Гизо, первым представителем либерального консерватизма¹. Происходила своего рода «национализация» монархий, в рамках которых дворянство сохранило ряд привилегированных позиций (армия, дипломатия, двор и т.д.), но вступило в союз с поднимающейся буржуазией. К концу XIX века консервативные партии чаще всего выражали интересы уже всех крупных аграриев, к каковым относились не только дворяне, и немалой части городских слоев. Изменились и основные ориентиры во внешней политике. Если к середине этого столетия еще сохранялись представления времен Священного союза, а придворные разных стран предпочитали общаться на французском языке, то к концу века они примыкали к партиям либеральных буржуа, разделяли их национализм и империализм.

Об империализме великих держав как причине Первой мировой войны написано немало, причем в либеральной историографии чаще всего на скамье подсудимых оказываются относимые к «старому порядку» военные и придворные элиты², тогда как о «капиталистическом переделе мира» и вине буржуазных партий писали социалисты и коммунисты. Начали они это делать еще до войны, продолжили во время боев: Гобсон и Гильфердинг, Бухарин и Ленин считали монополистический капитал – в первую очередь финансовый – ответственным за империалистическую войну.

Все такого рода коллективные осуждения являются скороспелыми обобщениями. Среди либералов хватало пацифистов, наиболее дальновидные монархисты были противниками войны (достаточно вспомнить записку П. Дурново), социалисты на своих съездах продолжали принимать декларации в духе интернационализма. Однако не было случайностью и то, что в августе 1914 года представители всех партий в подавляющем большинстве своем голосовали за военные кредиты. Все они были патриотами, все указывали на то, что война с их стороны оборонительная и справедливая. Тому, что социал-демократы оказались «оборонцами», способствовала эволюция социалистических партий под конец «прекрасной эпохи». В Англии среди «фабианцев» уже раздавались голоса о правомерности социал-империализма, во Франции социалисты провозглашали «святым» делом освобождения Эльзаса и Лотарингии от «немецкой военщины».

Вспоминать Первую мировую войну приходится потому, что в ее результате рухнули империи, а вместе с ними утратили свое положение консервативные элиты. Это относится прежде всего к проигравшим в войне монархиям: с карты исчезли царская Россия, Германский Рейх, Австро-Венгрия. На их место пришли буржуазные республики, но и они столкнулись с угрозой революций, подобных российской. Пришлось обращаться к офицерам и юнкерам, чтобы остановить продвижение коммунистического «проекта».

Мы оставляем за скобками вопрос о том, шла ли речь о преодолевающей капитализм социалистической революции или о революции в аграрном обществе, в которой мобилизовавшие относительно небольшой слой промышленных рабочих профессиональные революционеры под марксистские лозунги установили диктатуру, которая мало чем

¹ См. ранний его текст [10].

² Некоторые либеральные авторы отходят от этой примитивной схемы. Как писал Р. Арон: «Война 1914 г. вспыхнула и приобрела чрезвычайный размах, когда Европа переживала переходную фазу от традиционных и династических государств к государствам национальным. Скорее столкновение принципов, а не какой-то один принцип сам по себе, вызывает усиление и умножение войн» [2, с. 360]. Иначе говоря, на капиталистические противоречия буржуазных наций наложились династические притязания, меркантилистские представления элит и т.п. Эта книга примечательна тем, что в ней подробно опровергается ленинская версия империализма, в которой борьба за колонии увязывается с вывозом капитала, а тем самым финансовый капитал становится главным ответственным за развязывание мировой войны. С этой версией явным образом связаны будущие трактовки фашизма как орудия финансового капитала.

напоминала теоретические выкладки Маркса, зато имела огромное сходство с немецкой мобилизационной экономикой времен войны, то есть с государственным капитализмом, бюрократически управляемым новой элитой. То, что этот строй был не слишком похож на мечты социалистов о «свободных ассоциациях трудящихся», пролетариат не имел никакой власти, а партийная иерархия очень быстро похоронила «демократию советов», хорошо известно. К тем, кто считал верной теорию, согласно которой по незыблемым законам экономики произойдет переход к коммунистической формации, равно как и к тем, кто предвидел «тысячелетний Рейх» в силу особых свойств арийской расы, верны слова: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах».

Для нас значимо лишь то, что разлад капиталистической экономики создал революционную ситуацию, а революция неизбежно вела к кровавой гражданской войне – ее в странах Европы хотели избежать не только буржуа и помещики, крестьяне и ремесленники, но и значительная часть объединенных в профсоюзы промышленных рабочих (им было «что терять», а потому Ленин с ненавистью писал о «рабочей аристократии»)¹. Подавить вооруженные восстания могла только сила, но армии в проигравших войну странах развалились, а в едва возникших на обломках империй небольших национальных государствах только формировались. Возникновение фашистских движений и партий связано прежде всего с этим страхом разных социальных групп перед лицом революции.

Силы контрреволюции были неоднородны во всех странах Европы, более того, трудно сказать, кто сыграл большую роль в подавлении коммунистических выступлений, так называемые силы реакции или умеренные «левые». Первый президент Веймарской республики, социал-демократ Эберт прославился высказыванием: «Я ненавижу революцию как грех», а принадлежавший к той же СДПГ министр обороны Носке получил прозвище «кровавая собака», подавив выступления «спартаковцев» и левых социалистов. Но те, кого они привлекли к этому подавлению (Freikorps, будущие участники капповского путча и т.п.), ненавидели всех социалистов, да и не только их – все «левые», включая относимых к ним либералов и даже католическую партию «Центр», были партиями «системы», то есть подписантами и исполнителями Версальского договора, авторами конституции Веймарской республики. Их ненавидели и контрреволюционеры, и те, кто в дальнейшем сделали фашистами.

Среди противников социалистических революций мы обнаруживаем не только реальных или воображаемых «эксплуататоров». Европейские крестьяне и мелкие собственники и до войны не слишком жаловали социалистов и профсоюзы; во время войны две трети армий составляли именно выходцы из этих слоев. Обладавший даром предвидения М. Вебер еще в июне 1918 года говорил на лекции австрийским офицерам, что при попытке социалистической революции будет разрушено государство, но на его развалинах революция «может привести к господству заинтересованных лиц из крестьян и мелкой буржуазии, то есть радикальнейших противников всякого социализма» [6, с. 339]. Националисты всех европейских стран помнили куплет «Интернационала» (исчезнувший в русском переводе): «И если эти каннибалы упорно будут делать из нас героев, то они скоро узнают, что наши пули предназначены для собственных генералов». Итальянские «сквадристы» из штурмовых рот (*arditi*) мировой войны и воевавшие во Freikorps в 1919–1921 годах немецкие молодые офицеры и юнкера стали костяком будущих фашистских партий. Они обещали не столько крупному капиталу, сколько городским средним слоям и крестьянам не допустить до власти желающих «обобществить» их собственность, превратив «империалистическую войну в гражданскую»,

¹ Ведущие теоретики левого крыла социал-демократов – Карл Каутский в Германии, Отто Бауэр в Австрии – уже к 1920 году резко негативно характеризовали большевизм как варварство и даже как поражение социализма, как рецидив антигуманизма, охваченного безумной верой во всемогущество государства [резюме их книг см. 23, с. 94–95].

и выполнили это обещание. На союз со старыми элитами они пошли далеко не сразу, да и не были просто «наемниками капитала», как их представляла тогдашняя «левая» пропаганда и представляет нынешняя историография того же толка.

Исторические исследования в той или иной степени всегда зависят от идеологических установок исследователей, но в случае фашизма такая зависимость оказывается фатальной. Доныне господствуют две доктрины, в 1930-х годах видевшие в фашизме своего главного врага. Именно тогда появляется теория тоталитаризма, которую либералы применяют как против фашизма, так и против коммунизма, тогда как марксисты своим учением о классовой борьбе в эпоху империализма наносят удар не только по фашизму, но и по либерализму. Главной причиной появления фашистских режимов объявляется классовый интерес крупного капитала, который отстаивается и либералами, на время кризиса передающими власть фашистской диктатуре. Марксисты поныне принимают данное Димитровым определение фашизма как диктатуры «самого финансового капитала». К этому добавляется то, что все «левые» склонны употреблять слово «фашизм» в самых разных контекстах, по отношению к любым противостоящим им силам. Начало этому положили еще идеологи и пропагандисты большевизма, именовавшие «социал-фашистами» немецких социал-демократов, писавшие о «военно-фашистском заговоре» советских военачальников, «фашистской своре» троцкистов и т.д. У них осталось немало последователей в наше время. В США «левые» именуют фашистами и сторонников Трампа, и тех, кто негативно смотрит на cancel culture, woke и им подобные «плоды просвещения». В Западной Европе к фашистским относят партии, которые выступают против *нелегальной* иммиграции, исламо-гошизма и gender studies в университетах, а иной раз (что только отягощает вину перед «всем прогрессивным человечеством») и против распространяемой в качестве окончательной истины гипотезы о неизбежности климатической катастрофы как результата человеческой хозяйственной деятельности.

В 1930-х годах подобной «левой» публики еще не было, а потому тогдашние социалисты и коммунисты именовали фашистами все же не кого попало, а политических противников, которые в ответ на революционное насилие отвечали силой, а не болтовней в парламентах и газетах. Таковыми оказывались представители самых разных контрреволюционных организаций и правительств, которых скопом именовали фашистами, а на реальных представителей фашистских партий переносился обобщенный образ «капиталистического эксплуататора». Уже в то время подобные пропагандистские смещения порождали сомнения даже в рядах сторонников социалистического проекта. Вызывал вопросы и тот портрет «фашиста», который рисовали левые. Еще в 1937 году Дж. Оруэлл, в то время несомненный социалист, обратил внимание в очерке «Дорога на Уиган-пирс» на неэффективность и глупость марксистских интеллектуалов, рассказывающих рабочим в своих изданиях и листовках, что фашисты являются врагами пролетариата, желающими его поработить. Эти рабочие, сталкиваясь с фашистами, обнаруживали, что те сами чаще всего трудятся в поте лица своего и искренне сочувствуют пролетариям, озабочены «рабочим вопросом», стремятся его решить в корпоративном государстве, да и говорят с рабочими на понятном им языке, а не на жаргоне «политэкономии социализма».

Об экономических, социальных и политических проблемах капиталистических стран после Первой мировой войны написаны библиотеки, в которых несколько рядов занимают книги об истоках фашизма. Немало сказано относительно отличий итальянского фашизма от национал-социализма, равно как от других партий и движений, относимых к обобщенному понятию «фашизм». Воспроизводить содержание даже той малой части этих трудов в данной статье нет ни возможности, ни необходимости. Речь пойдет не о множестве партий, движений или групп, но о тех странах континентальной Европы, в которых были те режимы, которые заслуженно (или не всегда заслуженно) назывались фашистскими,

в которых сформировалась и господствовала соответствующая названию идеология. Если брать консерватизм, то затрагивается только та его разновидность, которая в межвоенный период продолжала доминировать на континенте, – правые контрреволюционные движения и партии, чаще всего монархические и националистические, характерные именно для этой эпохи. Либеральный консерватизм, конечно, тоже существовал, равно как и первые ростки того, что после Второй мировой войны стало называться христианской демократией, социальным консерватизмом. С фашизмом не могли бы сблизиться ни славянофилы, ни тори середины XIX столетия, равно как консерваторы 1970-х годов, тогда как общая память о Первой мировой войне и общее участие в контрреволюции после нее сближали часть консерваторов с фашизмом.

Различие консерватизма, будь он сколь угодно «реакционным», и фашизма кажется чем-то самоочевидным, если отбросить идеологические отождествления с последним самых различных политических образований, произведений культуры и искусства, взглядов, типов личности (вспомним хотя бы «Авторитарную личность» Адорно). Сами фашисты четко отличали себя от «реакционеров»: в нацистском гимне воспеваются товарищи, погибшие от рук красных и реакции (*Kameraden die Rotfront und Reaktion Erschossen*), испанские фалангисты устраивали покушения на монархистов даже после победы над республиканцами. Еще чаще обнаруживаются резко негативные и пренебрежительные оценки со стороны консерваторов, равно как и подавление оружием выступлений фашистов, запрет партий, их вооруженных отрядов, газет. Однако обнаруживаются не только временные союзы в борьбе с левыми, но также переходные образования, сходство позиций в области идей и ценностей¹, группы интеллектуалов, вроде части немецких младоконсерваторов, которые специфичны для каждой страны. Разумеется, далеко не все они станут предметом разговора, поскольку, например, для обсуждения так называемого австро-фашизма в его эволюции от убитого нацистами Дольфуса, которого еще никак не отнесешь к фашистам (вопреки идущей от левой – исходно австро-марксистской – интерпретации), к корпоративному государству Шушнига ставит вопросы, ответ на который можно получить только посредством детального исследования. Я склоняюсь к тому, что никакого «клерикального фашизма» не было, а О. Шпанн не принадлежал к фашистским мыслителям, но меня могут оспорить историки, которые профессионально над темой работали. У меня нет цели охватить все страны, в которых возникали фашистские партии и группы². Тем более нет намерения давать моральную оценку политическим деятелям и мыслителям прошлого, поскольку речь идет о людях столетней давности, решавших проблемы *своего времени*. Достойные люди встречаются среди либералов, социалистов и консерваторов в примерно равной пропорции с подлецами, а дегуманизация политических оппонентов всегда была инструментом последних.

¹ Даже родственной ментальности молодых людей, которые уже были ветеранами войны, не находивших себе места в обществе, презиравших мирных обывателей и ненавидевших политиков, подписавших «позорный мир». Они были готовы применять оружие в подступающей гражданской войне, участвовали в путчах, иной раз и в терактах. Неплохой портрет этой группы в Германии прописан в автобиографическом романе Эрнста фон Заломона, переведенном у нас под заглавием «Вне закона» (немецкое «Die Geachtete» означает, скорее, «Отверженные»).

² Великобритания и США предметом рассмотрения не являются. Причина не столько в особенностях фашистских партий и движений – они имели примерно ту же идеологию. Исторически сложилась иная, чем на европейском континенте, политическая культура, британские тори могли быть в то время страстными монархистами, но им не мог прийти в голову проект установления авторитарной монархии с отсылками ко временам Стюартов. Для англосаксов характерен исключительно либеральный консерватизм, с которым соперничали левые либералы (радикалы XIX века в Англии), а затем умеренные лейбористы. Правящий класс в те годы чувствовал себя достаточно уверенным в своих силах – он мог подавить всякие попытки устроить социалистическую революцию, не прибегая к услугам фашистов.

Тем не менее сближение части консерваторов с фашистскими партиями и движениями не вызывает ни малейших сомнений. Имелись общие враги, вроде социалистов и коммунистов. Существовали пересечения и на уровне идей: консерватизм рождался как реакция на «принципы 1789 года», фашисты не единожды в своих программных документах (скажем, в итальянской «Доктрине фашизма») прямо отвергают наследие французской революции. Доныне ведутся споры о финансировании и других формах поддержки фашистов консервативными элитами, а если брать не только марксистов всех деноминаций и сект, но даже леволиберальный mainstream в историографии¹, то ярлык «фашист» используется предельно широко и налагается на самых разных политиков, на организации и идеи 1920–1930-х годов. Данное эссе никоим образом не является апологией консерваторов той поры – они в таковой и не нуждаются. Это попытка посмотреть на взаимные отношения указанных политических движений в межвоенный период.

Сразу следует сказать, что в целом я солидарен с той оценкой, которую дал в книге «Великая трансформация» один из создателей институциональной экономики К. Поланьи, который был свидетелем возникновения и развития фашизма, его несомненным оппонентом, эмигрировавшим в Великобританию. Он считал и большевизм, и фашизм ответами на кризис рыночной экономики, только ответами неудовлетворительными – лекарствами, которые только усугубляли болезнь и вели общество к смерти. В Европе 1920-х годов ответом на «пролетарский социализм» большевистского образца была контрреволюция со стороны прежних элит, к которой прибавлялось их ожесточение в тех странах, которые желали пересмотра итогов Первой мировой войны. «Контрреволюция выполняла главным образом политическую работу, выпадавшую, естественно, на долю тех классов и групп, которые чего-то лишились, – династий, аристократии, церкви, капитанов тяжелой промышленности – и связанных с ними партий» [26, с. 260]. Фашистские партии представляли собой революционное движение, направленное не только против коммунизма, но также против консерваторов. Они предлагали свои силы для борьбы с коммунистами и социалистами, даже притязали на ведущую роль в этой борьбе, но стоящие за контрреволюцией элиты по всей Европе справились с революцией сами, не прибегая к услугам фашистов. Исключением была Италия, а потому итальянский режим на протяжении десяти лет считался специфически итальянским феноменом. Вывод Поланьи таков: «Европейский фашизм 1920-х гг. <...> лишь по стечению обстоятельств связан с национальными и контрреволюционными тенденциями. Это пример симбиоза самостоятельных по своим истокам движений, которые усиливали друг друга и создавали впечатление сущностной близости, будучи в действительности внутренне отличными по природе» [26, с. 262]. Место фашизма определялось состоянием рыночной экономики. Первые четыре-пять лет после войны к услугам фашистов прибегали изредка и лишь для того, чтобы подавить прямое насилие слева. В 1924–1929 годах стабилизация и кратковременный расцвет рыночной экономики отодвинули фашистские партии на роль маргиналов. После 1930 года экономику поразил всеобщий кризис, что превратило фашизм в мировую силу. «Прежде фашизм был лишь одной из особенностей итальянской авторитарной государственной системы, в остальном не слишком отличавшейся от более традиционных форм правления. Теперь же фашизм заявил о себе как об альтернативном решении ключевых проблем индустриального общества. Революцию общевропейского масштаба возглавила Германия, а фашистский выбор дал ей энергию для борьбы за мировое господство, охватившую вскоре пять континентов» [26, с. 264]. До крушения мировых рынков идеи хозяйственной автаркии и корпоративного государства казались набором дилетантских клише, к концу 1930-х годов они сделались популярной

¹ Примером может служить переведенная у нас книга [7].

и авторитетной доктриной, равно противостоящей либеральной модели рыночной экономики и плановому социализму советского образца.

Прежние элиты были отчасти уничтожены, отчасти отодвинуты от власти, отчасти интегрированы революционными фашистскими партиями. Если мы всерьез рассматриваем феномен революции, отличая ее как от дворцового переворота или путча, так и от прогрессистской мифологии, в которой революции являются «локомотивами истории», влекущими ее «все дальше и дальше» (а заодно и «все выше и выше») по пути «эмансипации», то мы останавливаемся на том, что революции ведут к радикальной смене элит, к ряду социально-экономических и политических трансформаций, сопровождающихся институциональными и идеологическими преобразованиями. Успешные мятежи меняли правящую верхушку¹, революции трансформировали все общество. Вменяемые итальянские и немецкие историки уже достаточно давно рассматривают фашистские движения как революционные² – это не делает таких историков сторонниками или восхвалителями фашизма. В отличие от множества *pronunciamientos* в странах Латинской Америки, в Мексике с 1910 по 1917 год происходила революция, определившая путь развития страны в XX столетии. Можно быть противником большевизма, но считать произошедшее в 1917 году именно революцией, а не переворотом.

Фашизм и национал-социализм привели к огромным переменам не только в политике, но также в экономике и культуре. Трудно говорить о верхушечном перевороте, когда за партию Муссолини на последних свободных выборах и при наличии серьезных конкурентов проголосовало в 1924 году 63% избирателей. НСДАП на выборах в марте 1933-го поддержали почти 44%. В первые полтора десятилетия фашистской диктатуры в Италии происходила быстрая модернизация страны, немецкий историк Э. Нольте нашел для режима удачное словосочетание «диктатура развития» [см. 43, с. 278–283]. Термины «реакционеры», «мракобесие» и им подобные трудно употреблять по отношению к режимам, делающим ставку на развитие техники, промышленности, транспорта, киноиндустрии и т.п. Если брать поддержку фашистских партий со стороны разных профессиональных групп, то на начало 1930-х годов наивысший процент членов НСДАП (да и членов СА) был среди немецких медиков, а победу на выборах во всех студенческих союзах (кроме католического) в 1931 году одержали молодые нацисты.

Повторять советские штампы о «лавочниках» и «люмпенах» могут только невежды; тем, кто повторяет раз за разом слова о демагогии реакционеров, стоило бы задуматься над тем, чем от нее отличается демагогия революционеров, обещающих «светлое будущее». Европейские средние классы 1930-х годов не состояли из клинических идиотов и верно понимали, какое им грозит будущее, если реализуется то, о чем поется в «Интернационале» и в какой-нибудь «Kominternlied», провозглашающей как цель завоевание всего мира (*Wir Erobern die Welt*) и обещающей пришествие *Weltsowetunion*. К тому же

¹ Известны слова Тертуллиана: «Нигде люди так быстро не повышаются в чинах, как в скопищах мятежников, где мятеж считается заслугой». Политические революции начинаются с мятежа, но они им не исчерпываются, а трансформация социальных институтов чаще всего отличается от тех проектов, которые замыслились революционерами.

² У нас недавно переведена обобщающая итальянские исследования фашизма работа Э. Джентиле [12], а также книга Х. Мёллера [17], в которых ряд страниц посвящен рассмотрению фашизма как революционного движения. Переход от предельно идеологизированного к научному рассмотрению фашизма произошел в Италии в 1960-х годах, тогда как в ФРГ он начался позже. Направлялась эта «историзация» максимумом видного итальянского историка Ренцо Де Феличе: перед тем, как критически судить фашизм, нужно сначала в точности понять его историческую реальность. Можно и нужно дистанцироваться от фашизма, но в задачи историка входит прежде всего рассмотрение прошлого с дистанции. Де Феличе в своей огромной биографии Муссолини первым заговорил о том, что Муссолини оставался революционером по крайней мере до конца 1920-х годов [см. 46].

коммунисты в ту пору были людьми хотя бы честными и прямо заявляли о своих методах, в отличие от сегодняшней «левой» тусовки. Они говорили о своем праве физически уничтожать классовых врагов и насколько могли, занимались этим. Листовки и брошюры «Антибольшевистской лиги» в Германии знакомили немцев с речами, вроде той, что была произнесена Зиновьевым в Смольном в сентябре 1918 года, говорившим, что из ста миллионов жителей Советской России нужно завоевать на свою сторону 90, а с остальными 10 миллионами и разговаривать не стоит, их нужно уничтожить.

От всех консервативных и реакционных движений и партий, итальянский фашизм и германский национал-социализм отличались тем, что они мобилизовали массы, политизировали тех, кто ранее в политике не участвовал или не был к ней допущен. Новые элиты, не разделявшие ценностей существовавших, отвергавшие прежние авторитеты, оспаривали их права на власть, предлагая проект ранее невиданного строя, некоей спасительной для всего Запада ступени цивилизации. Э. Джентиле добавляет к этому описанию фашизма как «революционного феномена» то соображение, что средние слои (не только «мелкая буржуазия», «лавочники» в марксистской литературе) обладают собственной социальной динамикой и могут выступать самостоятельно, конфликтуя то с крупным капиталом, то с рабочим классом (пятая глава второй части упомянутой его книги). Историки давно выяснили, что крупный капитал практически не финансировал Муссолини, а Гитлера начали снабжать средствами только с 1931 года, причем немногие его представители, вроде Ф. Тиссена¹. Основные средства эти партии получали от мелких и средних собственников, членских взносов массовой организации, но уж никак не от «финансового капитала» марксистских учебников и газет. Да и международный капитал, прежде всего американский, стал финансировать нацистскую Германию уже после прихода Гитлера к власти. И не потому, что так уж любил нацистов, а по той простой причине, что в стране наступил порядок и вложения стали давать прибыль.

И в фашистской Италии, и в нацистской Германии дворянство окончательно лишилось своих привилегий и начало формироваться то, что впоследствии получило наименование *consumer society*². Среди выдвиженцев НСДАП было немало выходцев из рабочих, скажем, гауляйтер Кох, либо мелких служащих, как Борман; даже в высшем офицерстве преобладали не носители дворянских семейств (с приставкой «фон»), а бывшие младшие офицеры и унтер-офицеры Первой мировой войны, выдвинувшиеся в то время, когда потомки юнкеров поредели. Фельдмаршал Модель был сыном провинциального учителя музыки, а Паулюс происходил из семьи тюремного счетовода. Если посмотреть на военную, политическую и полицейскую верхушку режима, то в ней больше всего было отпрысков школьных учителей. Именно эти «разночинцы» продвигались на высшие посты в вермахте. В других же сферах общества, куда менее заполненных дворянами, отошли на второй план не только они, но и представители прежних патрицианских буржуазных родов. Пришедший к власти слой функционеров НСДАП «отличали мелкобуржуазный, пролетарский, а также аграрный компоненты; лидеры национал-социалистов заступили в 1933 году на место ненадолго реставрированного слоя старых руководителей, а также парламентско-демократической элиты» [17, с. 229]. Если слово «демократия» толковать

¹ Прочие «короли» металлургии, начиная с Круппа, стали делать это лишь с весны 1933 года, после прихода нацистов к власти. И партия Муссолини, и НСДАП до захвата власти основные средства получали от взносов членов этих партий, которые были массовыми и состояли из представителей городской и сельской мелкой буржуазии, *middle class*, часто *lower middle class*. См. исследование по этому поводу [50]. Ранее крупный капитал финансировал конкурентов Гитлера: либералов, партию Центра и прежде всего правых националистов под руководством Гугенберга.

² О массовом обществе в нацистской Германии, включая и феномен массовой культуры, см. книгу О.Ю. Пленкова [24].

вслед за А. де Токвилем, то есть не как форму правления, а состояние общества, противоположное аристократии, то фашизм был демократичен и на свой манер меритократичен – он растил свою элиту из всех слоев общества. В том числе и ту часть элиты, которая несла ответственность за преступления этих режимов.

Провозглашаемым идеалом было «единство народа» поверх классовых различий, а воспитание новых граждан мыслилось как формирование «целостного человека», «героя труда и борьбы». В терминах Э. Фёгелина мы имеем дело с «внутримировой религией спасения», обещающей прогресс в рамках порядка. Подобно коммунистической версии такой десакрализованной религии, фашизм был нацелен против христианства. Абстрактные конструкции интеллектуалов («класс», «нация», «раса») противопоставлялись традиционным религиям – имманентное спасение ставилось на место трансцендентного, обмирщенная эсхатология утверждала окончательное царство на Земле. Такая религия предполагала революционное преобразование индивида в духе «мировоззрения» (любимое слово и нацистов, и коммунистов), воспитание «нового человека», готового трудиться и умирать в борьбе за цели движения. Не случайными были сравнения таких партий с религиозными военными орденами средневековья, равно как и культ вождя, замещающего божество. Взаимная ненависть коммунистов и национал-социалистов восходит в немалой степени к тому, что столкнулись две версии такой политической религии, а примирение их было столь же маловероятным, как прекращение взаимной резни во времена войн за веру.

Так как в мои задачи никак не входит даже краткое рассмотрение фашистских режимов, а одно лишь отношение консервативных элит к фашизму в период до и после захвата ими власти, я ограничусь несколькими точечными зарисовками, так сказать, case studies в нескольких европейских странах. Но начну я со случая русской белой эмиграции.

Русская эмиграция

Начинать приходится с недавней пропагандистской кампании в СМИ, к которой можно отнести блоги десятков коммунистических «говорящих голов». И.А. Ильина на протяжении нескольких месяцев именовали «фашистским философом» и даже «прихвостнем нацистов». Начинали эту кампанию лица, явно связанные с беглым олигархом, развили те, кто славит СССР и в особенности И.В. Сталина. Разумеется, среди «левых» блогеров хватает тех, кто кормится с того же зарубежного стола: данный олигарх начал финансировать коммунистов еще в 2003 году, поняв, что тратить деньги на либералов нерационально, а раскачивать ситуацию в стране можно через тех, кто провозглашает его самого «классовым врагом». Так как Президент России не единожды сочувственно цитировал Ильина и был инициатором возвращения праха философа на родину, то кампания была нацелена на дискредитацию В.В. Путина¹.

Поводом было создание в РГГУ Школы, носящей имя философа, каковую возглавил А.Г. Дугин, которого на Западе буквально демонизируют и нередко именуют фашистом. Воздержусь от характеристики воззрений Дугина уже по той причине, что он выпускает по одной-две книги в год и предстает то национал-большевиком, то неоевразийцем, то старообрядцем, то создателем «четвертой политической теории», хотя, как мне кажется, хранит верность традиционализму Р. Генона и Ю. Эвола. Перечитывать написанное Геноном о царстве количества, а Эволой о бунте против современного мира я не стану, равно как вникать в то, как Дугин использует тексты хоть Хайдеггера, хоть французских постмодернистов для борьбы с «сатанинским Западом», то есть с Модерном, включающим в

¹ Подобная кампания проводится не впервые. Подробнее об этом см. в статье Р.В. Михайлова «Новые тенденции в идеологии русофобии» [52].

себя и естественные науки, и техническую цивилизацию. Он следует предложенной Эволюцией стратегии «оседлания тигра» – для борьбы с европейской рациональностью следует использовать ее последние плоды. Ничего не имею против того, что высокообразованный мыслитель публикует свои труды и читает лекции, хотя сомневаюсь в том, что проректоры университетов и инженерных вузов по воспитательной работе со студентами – а именно для их просвещения создана данная Школа – будут вдохновлены программой «деколониализации России» от имени навеянного Ведантами традиционализма.

Однако в центре внимания наследников Ленина и Сталина был именно Ильин, а вся эта кампания была направлена не только против президента, но была также продолжением или ответвлением продолжающейся «битвы за историю», которая ведется против действительного или воображаемого «монархизма», «белогвардейщины», «хруста французской булки» и т.п. За отсутствием в последние несколько лет вменяемых либералов, черно-белая картина истории теперь навязывается как красно/белая, причем только «красный патриотизм» провозглашается допустимым. Так как эта борьба за прошлое ведется активными, но малообразованными людьми, то в ней более чем достаточно удивительных заявлений, которые никак не подкреплены фактами. Важнее всего обелить «вождя всех времен и народов», осудить почему-то за «троцкизм» Хрущева и Горбачева, найти «врагов народа» в каком-нибудь министерстве или в ЦБ и т.д. Один из такого сорта писателей хорошо назвал свой блог «сказы истории» – сказочников и сказочных невежд (можно подобрать другое существительное) с испытываемыми лицами доцентов кафедр истории КПСС и политэкономии сейчас немало и на телеэкранах. Школа имени Ильина была к тому же поводом для того, чтобы вдохнуть жизнь в партию, вроде КПРФ и «Справедливой России», которые рискуют на ближайших выборах вообще покинуть Государственную Думу. Ностальгия по СССР части старших поколений остается чуть ли не единственным электоральным активом наследников коммунистического проекта, а Ильин был одним из самых непримиримых его оппонентов.

Так как утверждавшие, что Ильин был «фашистским философом», судя по их статьям, либо вообще ничего в философии не понимают, либо их познания ограничиваются вузовским учебником советских лет, то следует сказать, что за словосочетанием «фашистский философ» все же стоит определенное содержание. Дж. Джентиле в Италии таким философом, без сомнения, был; именно он помогал Муссолини в написании «Доктрины фашизма»; был таковым в Германии А. Боймлер, приспособивший учение Ницше к нацистской идеологии. Имелись идеологи нацизма, называвшие себя философами, вроде А. Розенберга, но на деле их дилетантские писания, вроде «Мифа XX века», к философии не имеют никакого отношения. Примерно то же самое можно сказать по поводу большевистских идеологов – ни Сталин, ни Троцкий, ни Бухарин философами не были, а к достоинствам Ленина можно отнести скромность, поскольку он называл себя «начинающим философом». В случае национал-социализма, следует сказать, что слово «мировоззрение» употреблялось куда чаще, чем «философия», а слово «система» было под запретом: в нацистском лексиконе оно было закреплено за Веймарской республикой. Имелись мыслители, состоявшие в НСДАП (Хайдеггер, Шмитт, Гелен), но они не были «фашистскими философами», так как по содержанию их учения не только не совпадали, но резко расходились с данной политической доктриной. Точно так же имелись философы-марксисты, не принимавшие ни теорию, ни практику большевизма во всех его разновидностях.

Ильин был незаурядным философом, но оригинальным мыслителем он был в сравнительно узких областях. Прежде всего он прославился как историк философии, написав двухтомную работу о Гегеле. При этом к гегельянцам или даже неогегельянцам его отнести можно только с множеством оговорок. Наиболее оригинальными являются его сочинения по философии права, переходящие в этику. Я укажу только на две яркие работы:

«О сущности правосознания» и «О сопротивлении злу силою». Христианский персонализм у него переходит в этическое учение об автономной личности, а уже оно становится основанием права. Его работы, которые можно отнести к философии религии, свидетельствуют о глубокой религиозности Ильина, но все же уступают произведениям таких его современников, как С. Булгаков, Н. Бердяев или Н. Лосский. Наконец, он был и политическим философом, написавшим, в том числе, немало публицистических статей. Так как он считался ведущим идеологом РОВС, входил в число тех, кого читали и почитали монархисты из числа белых эмигрантов, включая и руководителей этого союза, то именно его статьи, составившие сборник «Наши задачи», привлекли внимание российских политиков после крушения СССР.

Эти статьи популяризировал Н.С. Михалков, снявший об Ильине телевизионный фильм; в дальнейшем их цитировали самые разные патриотически настроенные политики и публицисты, включая и руководителя КПРФ Зюганова. Умиравший в пригороде Цюриха эмигрант за сорок лет до падения коммунистического режима предсказал, какие опасности ждут Россию. Внутри разложившаяся, аморальная кучка карьеристов и хапуг начнут расхватывать все, что попадет под руку; извне к этому разрушению приложит свою руку «мировая закулиса» – с тем чтобы не только обогатиться, но и максимально ослабить Россию. Понятно, что коммунисты той поры приводили только слова о «мировой закулисе», но избегали тех суждений Ильина, которые указывали на первопричину – на тот строй, который мог породить только такую элиту. Можно понять, почему Ильина ненавидят и беглые олигархи, и раздающие гранты западные фонды, и коммунисты. Поэтому его объявили «фашистским философом», не прочитав ни строчки из его философских трудов.

У Ильина в 1920-х годах были немалые симпатии к режиму Муссолини, он писал даже о том, что белое движение было некоей первой формой фашизма. Сила, которая остановила движение Италии в пропасть гражданской войны, в которой на место бессильных либералов и социалистических агитаторов (так сказать, Милюковых и Керенских) придут коммунисты, не могла не вызывать симпатий у эмигранта-монархиста. В статье 1928 года «О русском фашизме» он утверждал, что в ответ на безбожность и алчность современного мира разворачивается рыцарственное движение, которое было начато белыми в России, а продолжено итальянскими фашистами, причем белое движение более совершенно, будучи монархическим и религиозным. Всякий историк скажет сегодня, что Ильин ошибался, поскольку реальное белое движение не было ни фашистским (не вело за собой массы, да и не умело ими руководить), ни – за редкими исключениями – монархическим, ни религиозным (в отличие, скажем, от испанской контрреволюции 1936–1939 годов), да и о рыцарственности движения в целом можно было бы поспорить. Фашизм в 1920-х годах вообще казался многим исключительно итальянским феноменом, в котором многие видели нечто близкое своим идеям и в чем-то симпатичное – это относится не только к Ильину. Одновременно с ним расхваливал Муссолини посетивший Апеннины Черчилль, а другой британец, «большой друг Советского Союза» Б. Шоу находил в фашизме нечто родственное своим представлениям о «человеческом и сверхчеловеческом» и вел переписку с Муссолини. З. Фрейд подарил дуче свою книгу с дарственной надписью. Если британский прагматист Ф. Шиллер (именовавший свое учение гуманизмом) восторгался итальянским режимом той поры, то был ли он «фашистским философом»? Симпатия Дж. Р. Толкиена к испанским националистам во время гражданской войны говорит лишь о том, что английский католик предпочитал франкистов тем, кто жег церкви и расстреливал монахов, – следует ли и его записывать в «фашисты»?

Тем, кому не мешают идеологические шоры, стоит прочитать хотя бы книгу «Итальянский фашизм» (1928) такого современника тогдашних реалий, как Н.В. Устрялов, который не скрывал своих куда больших симпатий к Советской России, но должным

образом оценивал Муссолини и его режим. Как соотносить пресловутую «реакционность» режима с тем, что система образования в нынешней Италии почти без изменений сохранила все то, что было осуществлено реформой упомянутого выше фашистского философа (без кавычек) Джованни Джентиле? Если часто повторяемые слова о «террористической диктатуре» сопоставить с тем, что в 1931 году были амнистированы и выпущены почти все политические заключенные (а их было за все время режима 12 тысяч), а оставшиеся в тюрьме просидели ровно столько, сколько назначил суд, и главный теоретик коммунистов Антонио Грамши мог писать в тюрьме свой труд и вышел на свободу, то можно оценить весь размах террора. С конца 1922 года по 1940 год в фашистской Италии к смерти было приговорено 17 человек, из них казнено 9, а 8 амнистированы. Не был приговорен к смерти даже анархист, бросивший гранату в автомобиль с дуче. Кстати, превосходными вплоть до 1936 года были отношения между фашистской Италией и большевистским СССР¹. Стоило бы иногда сравнивать одни диктатуры с другими – вспоминается пословица о соломинке в чужом глазу и бревне в собственном. Резкие изменения итальянского режима начались в 1936–1937 годах и были связаны со сближением с германским Рейхом, но вплоть до свержения дуче в 1943 году Италия оставалась правовым государством. Эксцессы, произвол полиции случались, но куда реже, чем в США времен экономического кризиса, даже если не принимать во внимание практику полиции в южных штатах той поры. Террористическим государством называть этот режим у нас не больше оснований, чем характеризовать подобным образом СССР брежневских времен.

Террористической диктатурой в полном смысле слова была «Республика Сало» 1943–1945 годов, причем не только потому, что «сидела на штыках» немецкой армии и вела борьбу с партизанами. *Repubblica Sociale Italiana* была возобновлением раннего революционного фашизма с его синдикализмом, национализацией крупной промышленности, провозглашением в качестве главного врага монархии и олигархии. Союз с консервативными элитами был разорван, и фашизм вернулся к практике «прямого действия» 1919–1920 годов.

Еще меньше оснований обвинять Ильина в причастности к национал-социализму. Ему принадлежит статья «Национал-социализм. Новый дух», вышедшая в мае 1933 года. В ней он повторяет некоторые тезисы ранней публикации об итальянском фашизме, а основное содержание статьи сводится к похвале национал-социалистам за антикоммунизм и успокоению людей из русской эмиграции – национальная революция в Германии ведет не к хаосу, а к порядку. Можно говорить о том, что прозорливость в данном случае явно отказала философу. Только это верно по отношению не только к Ильину, но и ко всему тому кругу лиц в Германии, с которым он общался и в ком видел единомышленников, от кого он в какой-то степени зависел. Это были стоявшие за бывшим рейхсканцлером и вице-канцлером в правительстве Гитлера, близким президенту Гинденбургу фон Папену, прежде всего так называемые младоконсерваторы, группирующиеся вокруг журнала «Кольцо». Программу фон Папена написал принадлежащий этому кругу историк и журналист В. Шотте, спичрайтером был юрист и философ Э.-Ю. Юнг, возглавляемый Г. фон Гляйхеном «Немецкий клуб господ» был на 1932 год своего рода *think tank* правительства фон Папена. Ильин с ними сотрудничал, публиковался в журналах и газетах, близких этому клубу, участвовал в организованных им мероприятиях. В частности, он был одним из основных докладчиков на конференции 14 марта 1930 года, посвященной гонениям на религию в СССР, и выступал сразу за фон Папеном.

¹ Личная дружба связывала Муссолини не только с Л. Каменевым, побывавшим послом в Италии в 1926–1927 годах, но и с В. Потемкиным, послом в 1932–1934-м, который подписал советско-итальянский договор о дружбе, ненападении и нейтралитете, негласно направленный против нацистской Германии. В начале 1930-х годов между двумя странами было в том числе и значимое военно-техническое сотрудничество, прежде всего в области военного кораблестроения.

Младоконсерваторы изначально были невысокого мнения о Гитлере, а на 1932 год, когда тот соперничал за место рейхспрезидента с Гинденбургом, предельно резко его критиковали, в том числе и за антисемитизм. Гитлер говорил в ответ о «реакционной клике», которую намерен свергнуть национал-социализм. Ситуация изменилась к концу этого года. Сменивший фон Папена на посту канцлера фон Шлейхер стремился расколоть НСДАП и вообще убрать нацистов с политической сцены, а фон Папен, желавший вернуться в кресло канцлера, сумел убедить Гинденбурга в том, что Гитлера нужно сделать канцлером, но кабинет министров составить из близких ему и главе правых националистов Гугенбергу. Эти люди были убеждены в том, что им удастся «приручить» нацистов, использовать их для отбрасывания всех «левых», а затем распрощаться и с ними.

К маю 1933 года власть принадлежала именно этому кабинету, за ним стоял рейхспрезидент, которому беспрекословно подчинялась армия. Политика «реорганизации» (примерно так можно передать немецкое *Gleichaltung*, буквально означающее «выравнивание») только начиналась и задела пока лишь коммунистов и социал-демократические профсоюзы. Так что иллюзии у Ильина были те же, что и у немецких консерваторов. Окончательно они будут отодвинуты от власти после «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда были расстреляны не только вожаки штурмовиков во главе с Ремом, но и фон Шлейхер, Э.-Ю. Юнг и еще ряд консерваторов. Одни, вроде Шотте, едва спаслись, другие, как сам фон Папен, лишились постов, но стали служить на более низких. Ильина не случайно уволили с поста директора Русского института в июне, а из института вообще исключили в начале июля 1934 года, сразу после этой «чистки». Он был поставлен на него немецкими консерваторами и убран вместе с их падением. За этим последовали вызовы в гестапо, запреты на публикации и т.п. свидетельства того, что Ильин сделался нежелательным элементом в нацистской Германии. Его оценка происходившего хорошо известна: в ряде СМИ приводилось письмо И.С. Шмелеву, в котором режиму дана нелицеприятная характеристика. Участвовать в антисемитской пропаганде и сотрудничать с украинскими националистами он отказался, а от Русского института требовалась именно такая деятельность.

В дальнейшем Ильин в целом принял теорию тоталитаризма и писал о тирании тоталитарного государства как худшей из возможных тираний, создающей «новый, невиданный еще режим бесчестия и нечестия» [14, с. 406]. При этом он не отрекается от прежних своих воззрений, указывая на итальянский фашизм как на самую «несуровую разновидность» такой диктатуры; но и она подлежит осуждению как форма разложения правосознания. Не поменялось его мнение о гитлеризме и большевизме, равно как и о западной демократии. Как и многие консерваторы начала XX века он считает демократию не вершиной политической организации в истории человечества, но возможной в определенных благоприятных условиях формой отбора элиты, то есть меритократии, остающейся желанной целью со времен «Политики» Аристотеля. Только подобные условия редки, требуется наличие образованного и граждански активного среднего класса. Мысль не новая, сходным образом писали не только консерваторы, но и либералы XIX века. Словами героя романа Достоевского: «Республику провозгласить легко, только где взять республиканцев».

Ильин никоим образом не поддерживал немецкий поход на СССР. Если брать РОВС в целом, то на момент Второй мировой войны у него вообще не было четкой централизованной позиции – его отделения в разных странах тоже воздерживались от занятия некой обязательной линии. Известно, что в Сербии местное отделение РОВС обратилось к немцам с просьбой об оружии, но повод был четко указан – защищать белоэмигрантов от нападений красных партизан. Но были и те, кто участвовал в Сопротивлении.

Стоит сказать, что РОВС на то время переживал не лучшие времена; ослабила его в немалой мере деятельность НКВД, причем речь идет не только о похищениях руководителей (Кутепов, Миллер), но о вскрывшемся проникновении во все его структуры советских

агентов. На это указывали две конкурирующие с РОВС и ориентированные на эмигрантскую молодежь организации – «младороссы» и НТС (я не привожу не единожды менявшиеся названия партий). Обе организации отчасти ориентировались в своих программах на фашистское корпоративное государство, а «младороссы» иногда называли себя фашистами – их вождь, А.Л. Казем-Бек, встречался с Муссолини и, пока тот не вступил в союз с Гитлером, полагал его режим заслуживающим подражания. Однако эта монархическая партия, формально поддерживавшая великого князя Кирилла Владимировича в притязаниях на императорский трон, была одновременно просоветской (советский строй ею принимался как политический базис общества), соединяла в своей программе обрывки славянофильства, евразийства, сменовеховства, православного монархизма с фашизмом, а на практике была от последнего достаточно далека. Во время оккупации Франции младороссы активно участвовали в Сопротивлении, а Казем-Бек, вероятно, уже был к тому времени советским агентом¹. В любом случае, к взаимоотношениям консерватизма и фашизма эта партия не имеет почти никакого отношения – монархистами они были только на словах да и не зря именовали себя «революционной партией». Еще меньшее отношение к консерватизму имеет НТС, прошедший путь от работы на польскую разведку, сотрудничество с нацистскими спецслужбами и РОА (не всегда простое и легкое – сотни полторы членов НТС оказались в лагерях в 1944 году), а затем почти полвека антикоммунистической пропаганды, оплачиваемой ЦРУ. Корпоративное государство поменяли на «солидаризм», однопартийный режим на демократический плюрализм, но сути дела это не меняет. «Нацмальчики», как именовали членов НТС младороссы, были в 1930-х годах фашистами, в 1950-х сделались демократами. Идеи менялись в зависимости от заказчика.

Но эту партию хотя бы возглавляли незаурядные и хорошо образованные люди (Р. Редлих, В. Поремский), которые все же умели самостоятельно ставить и решать экономические и идеологические вопросы. Прочие партии создавались авантюристами, вроде РОНД или ПРО-РНСД, возглавляемой П.Р. Бермондт-Аваловым, которого нацисты арестовали только за то, что он тратил на себя выделяемые ими средства. Авантюристами были и создававшие в Харбине фашистскую партию А. Вонсяцкий и К. Родзаевский. Достаточно вспомнить о провозглашенной в 1935 году «фашистской трехлетке» – к 1938 году в СССР они обязывались осуществить национальную революцию. «Азбука фашизма» представляет собой амальгаму из итальянских и немецких первоисточников. Любопытна разве что их оценка сталинского режима после всех лет борьбы с ним. Вонсяцкому принадлежат слова о том, что истинным фашистом является Сталин, ведь он уничтожил коммунистов больше, чем Гитлер, Муссолини и Чанкайши, вместе взятые. Потерпев крах, Родзаевский признал правоту и величие Сталина, реализовавшего основные пункты его программы, вернулся в СССР и был расстрелян.

Русский фашизм в среде белой эмиграции, безусловно, существовал, ориентируясь преимущественно на итальянский образец. Имелось и некоторое число русских нацистов. Вряд ли к числу русских стоит относить ту группу эмигрантов из прибалтийских немцев, которые сыграли свою роль при образовании НСДАП, – можно вспомнить о М.-Э. фон Шойбнер-Рихтере, убитом полицией при подавлении «пивного путча», или об А. Розенберге, главном идеологе нацизма. Они исходно были немцами, полагавшими русских если не «недочелове-

¹ Уже после войны он перебежал в СССР и умер в 1977 году на своей даче в Переделкине, работая с 1957 года в Отеле внешних сношений РПЦ. О его авантюрной жизни и деятельности написано немало статей в прессе, переведена с французского книга М. Массип. Позиция младороссов всегда была патриотической, германский нацизм они не принимали, поскольку видели в нем силу, направленную на порабощение всех славян и расчленение России. Характерно заглавие книги ведущего идеолога младороссов князя С. Оболенского: «Украина это Россия». Во французском Сопротивлении младороссы занимали особое место, поскольку организовали большой партизанский отряд, действовавший в Пиринеях. Любопытные сведения о С.С. Оболенском и эволюции партии в статье [3].

ками», то людьми второго сорта. Нацизм с ясно выраженным в «Майн кампф» стремлением превращения России в колонию («нашу Индию»), планом порабощения всех восточных славян, мог рассчитывать на поддержку малой части эмиграции. Не случайно из примерно 50 тыс. эмигрантов, живших в Германии в 1933 году, к началу Второй мировой войны осталась примерно пятая их часть. В 1930-х годах «русский нацизм» не был востребован: чиновникам от НСДАП само это словосочетание резало глаз, поскольку расходилось с идеей «нордической расы», из которой исключались все славяне. Они были нужны тогда только для контроля над эмиграцией, а востребованными оказались только с началом войны на Востоке, да и то не сразу, а после ряда поражений, когда началось формирование РОА. В глазах большей части белоэмигрантов эта публика выглядела как сборище подонков, руководящих недоумками; никакой собственной идеологии у них не было, да и не могло быть.

Говорить о каком-то «русском фашизме» в сегодняшней России трудно по одной простой причине. По одну сторону у нас находится некоторое число поклонников «белой расы», засоряющих пространство Интернета своими комментариями, но немногочисленных и маргинальных. По другую сторону обнаруживаются многочисленные и крикливые персонажи: уже четверть века в наших либеральных СМИ раздувалась тема извечного черносотенства, скрытого и явного фашизма, чуть ли не соприродного России, а потому повсюду обнаруживаемого. Приведу в качестве примера запомнившуюся мне статью весьма модного в «демократической» тусовке двадцатилетней давности журналиста, прочитавшего «Русскую правду» Пестеля и утверждавшего, что тот уже был потенциальным «рейхсфюрером». То, что декабрист был знаком с речами и практикой Робеспьера, равно как и Бонапарта, такому сочинителю в голову прийти не могло в силу присущей ему безграмотности. Нападки на Ильина как «фашистского философа» доносятся из того же лагеря – бойких, но интеллектуально убогих. Поменялась разве что раскраска тусовки – желтый цвет сменился на красный.

Позиции наследников эмигрантских организаций известны. НТС с самого начала существования Российской Федерации хвалил команду президента Ельцина, а на протяжении последних двух десятилетий помогал «антикремлевской» оппозиции. Считающие себя продолжателями РОВС с 2014 года поддерживали ДНР и ЛНР, отправляли туда воевать своих членов. Немалая часть поборников «белой расы» влилась в батальон «Азов». У «младороссов» прямых наследников нет, хотя некое сходство их идей с национал-большевиками и им подобными группами все же прослеживается.

Русские белоэмигранты, враждебно настроенные к политическому строю в СССР, придерживались самых разных идейных позиций: эсеры отличались от кадетов, газета Милюкова спорила с газетой Струве. Если брать только известных мыслителей, то прямое сотрудничество с фашистами и нацистами было редким – можно вспомнить Вышеславцева, Мережковского, немногих других рангом пониже. Отношение большинства консервативных монархистов к сталинской и гитлеровской диктатуре исчерпывающе точно обозначил И. Солоневич заглавием своей книги: «Диктатура сволочи». Эта позиция далеко не безупречна по своим следствиям. Непонимание того, что наступила эпоха ворвавшихся в политику масс, сметающих сохраненные традицией институты и старые политические элиты, сказывается на способности сдерживать и направлять такие массы в то самое время, когда политические противники умели и хотели это делать. Такое игнорирование реальности мы обнаруживаем и в случае европейских консерваторов большинства стран того времени.

Италия и Германия

При всех отличиях итальянского фашизма и германского национал-социализма их сходства перевешивают: если словосочетание «фашистский режим» обладает каким-то общим для разных стран значением, то возникшие практически независимо друг от друга и

с разрывом в десять лет в Италии и в Германии диктатуры имели столь большое число общих черт, что современники ничуть не ошибались, используя применительно к немецкому режиму итальянское слово¹. Так как нас интересует исключительно взаимоотношения этих партий и режимов с консерваторами, идет ли речь о политической мысли или о взаимодействии на практике, то мы ограничимся этим аспектом.

Всем хорошо известно то, что фашистские партии не пришли бы к власти, не получи они поддержки части политических и экономических элит. Марш на Рим без труда можно было остановить, подобно тому как был остановлен марш на Берлин в ноябре 1923 года, вошедший в историю как «пивной путч». Сходным был своего рода «переходный период», когда фашисты руководили коалиционным правительством, в которое входили представители партий старой элиты. В этот период и Муссолини, и Гитлер шли на вынужденные уступки, им пришлось обуздывать собственные отряды с их тягой к насильственным «прямым действиям», отодвигать от рычагов власти тех, кто пытался раньше времени подчинять крупный капитал планам построения корпоративной экономики² и т.д. Относительно временных союзов с теми или иными группами влияния, преследующими собственные материальные интересы, написано немало, начиная с тогдашних противников³, но такие констелляции интересов мало что значат для оценки идей. Требуется понять, что собой представляли итальянский и немецкий консерватизм после Первой мировой войны.

Итальянский консерватизм обладает рядом черт, которые обособляют его от других стран континентальной Европы. В них он чаще всего был связан с ностальгией по «старому порядку», тогда как в Италии времен Рисорджименто это означало бы возвращение к раздробленности и чужеземному господству. Либералами здесь в середине XIX века называли тех, кого в других странах относили к консерваторам. Представители «католического либерализма», В. Джоберти и А. Росмини Сербати, были «либеральны» лишь в том смысле, что подготавливали конституционные реформы Кавура, а Ч. Бальбо отстаивал представительную монархию против республиканизма, полагая, что собрание депутатов есть меньшее зло в сравнении с «народом на площади». Все они желали объединения Италии, но опасались революционных радикалов, вроде Мадзини и Гарибальди. Усилиями таких либералов Италия получила конституционную монархию, в которой король обладал куда большими прерогативами, чем в Великобритании или Бельгии. Консервативная критика начинается с середины 1880-х годов как критика коррупции, которая не замедлила появиться вместе с развитием капитализма в условиях парламентской системы. *Governo di partito, partitocrazia* – таковы основные темы консервативной публицистики, которые переросли в дальнейшем в серьезные научные исследования, прославившие итальянскую социальную науку.

Хотя Г. Моска обычно относится к либералам, а В. Парето к консерваторам, оба они, создавая теорию циркуляции элит – иной раз вступая в спор о первенстве, – отталкивались

¹ Хотя сами нацисты его редко использовали, а иной раз подчеркивали отличия, на что правомерно указывал А. Молер [см. 18], только некоторые его оппозиции («коллективизм» нацистов и «индивидуализм» фашистов и т.п.) вызывают сомнения. Незадолго до смерти сам Молер признался, что всю свою сознательную жизнь был фашистом; он объяснял себе и другим, почему он, швейцарец, отправился во время войны в Германию вступить в СС, но быстро разочаровался и вернулся обратно. О фундаментальных различиях между фашизмом и национал-социализмом часто писали итальянские историки, начиная с Р. Де Феличе, но их обоснованно оспаривали немецкие специалисты: именно то, что представлялось свойственным исключительно режиму Муссолини, оказывалось присущим и национал-социализму [обзор дискуссии см. 46, с. 144–148].

² Так, летом 1933 года Гитлер сместил со всех руководящих постов О. Вагенера, рейхскомиссара по вопросам экономики, хотя тот был близким ему доверенным лицом, однако проиграл во внутривнутрипартийной борьбе Герингу, поддерживавшему отличные связи с промышленниками. На этом завершилось продвижение идеи корпоративного государства в нацистском Рейхе.

³ В качестве примера можно привести переведенные на русский и переизданные книги таких оппонентов, как социалист К. Гейден и коммунист Э. Генри [см. 8, 9].

от итальянской реальности. В условиях, когда правом голоса обладали все более широкие массы, либеральная парламентская система в глазах всякого не склонного к иллюзиям наблюдателя выглядела как «демагогическая плутократия» (Парето). Подкуп газет, избирательных комиссий, а то и самих избирателей, стоил денег, которые возвращались тем, кто их вкладывал, через нужные законы и акты. Стоит сказать, что Италия не была каким-то исключением из правил: по всем странам Европы ширились скандалы, причем самые громкие были именно во времена правления партий либералов, – примерами могли служить хоть Вена, хоть Париж, в котором так называемый Панамский скандал показал, что подкуплена была чуть ли не половина парламента. Быстрое развитие промышленности вело к появлению пролетариата и социалистических партий, а также к разорению части мелкой буржуазии, вливавшейся в появившиеся националистические организации. В запаздывавшей в развитии Италии к этому добавлялся нерешенный аграрный вопрос с немалым перенаселением, которое разрешалось за счет массовой эмиграции в Северную и в Южную Америку.

Теории круговорота элит были консервативным и достаточно пессимистичным ответом на эти проблемы. Вряд ли уместно воспроизводить вошедшие во все учебники по социологии и политологии учения Парето и Моска. Для нас важно то, что они были критиками парламентаризма, не отвергая идею представительного правления как таковую. Социалистические доктрины ими отвергались как демагогические, но и либерализм представлял как апология власти одной из элит, а именно, финансовой олигархии. Оба мыслителя приветствовали приход Муссолини к власти, Моска был депутатом, а Парето был сделан сенатором; дуче заявил, что экономист является его учителем, – он слушал его лекции, когда был эмигрантом в Швейцарии, и утверждал, что следует его теориям на практике. Отчасти это так и было, поскольку первое коалиционное правительство Муссолини проводило либеральную политику высвобождения рынка от множества ограничений военного времени, государственного контроля, оборачивавшегося коррупцией¹. Моска называет либералом только по той причине, что в 1925–1926 годах он выступал против чрезвычайных полномочий правительства и выведения его из-под контроля парламента, тогда как Парето остается в рядах «консерваторов-элитаристов»². Только Парето умер в 1923 году до перехода к однопартийной диктатуре, а сторонником свободы мысли и прессы он был ничуть не меньшим, чем Моска. Позиция у них была общей: массовая демократия, сочетаемая с либеральным парламентаризмом, неизбежно ведут к тому, что еще Цицерон называл «наиболее уродливой формой правления», при которой «богатейшие люди считаются наилучшими» [29, с. 41]. К социалистической альтернативе оба они относились крайне негативно, поскольку огосударствление экономики ведет к затхлому царству бюрократии, а переход к нему будет стоить кровопролитной гражданской войны. Требуется найти способ мирной смены элиты, которая уже, так сказать, «зажралась» и желает сохранять свое положение, на другую, способную лучше управлять обществом. Возбуждающие массы демагоги такую элиту не составляют и не обладают необходимыми качествами, не говоря уж о самих пролетариях или мещанах.

К цезаризму, уже хорошо известному на примере бонапартизма, они также не были склонны: единовластие массовой фашистской партии никак не могло быть идеалом для консервативных критиков либерализма и социализма. Тем более что новая фашистская элита была полна малообразованных выдвигенцев и откровенных карьеристов. Сход-

¹ Об этом ярко написал Н.В. Устрялов в упомянутой выше книге: «Политике национализаций и монополий приходит конец. По всей линии проводится энергичная реакция против этатизма в экономике» [27, с. 153]. В субсидиях было отказано и промышленникам с разбухшими во время войны штатами, и аграриям – всем, недурно жившим за счет бюджета. Говоря о фашистском этатизме более позднего периода, нужно помнить, что начинался режим с противоположной экономической программы.

² Так обособляет этих мыслителей в своей фундаментальной работе К. фон Бейме [см. 32].

ным образом в те годы задавали вопросы о массовом обществе другие внимательные наблюдатели его становления, начиная с Г. Ле Бона. Хорошо известна работа Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», в которой негативно оценивается итальянский фашизм. Правда, в Италии один из наследников Парето и Моска, перебравшийся в 1907 году из Германии социолог Р. Михельс, писавший о «железном законе олигархии», целиком принял режим Муссолини. Но консервативный элитаризм оставался и в Италии, и в других странах оппонентом фашизма.

В особенности это касалось церковных кругов. При внешнем примирении фашистского режима с католической церковью трения сохранялись, как и память о том, что одной из запрещенных партий была «Popolare», связанная с католицизмом. Между социальной доктриной церкви и корпоративизмом были некоторые переклички, но уже «Доктрина фашизма», в которой неогегельянский активизм («актуализм») тайного соавтора этого эссе Дж. Джентиле и нищезанство самого Муссолини не могли вызвать ни малейших симпатий католиков. Они разделяли неприязнь к либерализму и социализму, но воспитание в духе фашизма расходилось с христианством, а культ дуче, непрерывные отсылки к языческому Риму побуждали иных католиков почитать таких цезарей, как Тиберий, Калигула и Нерон. К фашизму были близки и быстро в него влились только крайние националисты во главе с Э. Коррадини, но они и до Первой мировой войны никак не были консерваторами.

Муссолини пошел на договор с консервативными кругами – королевским двором, церковью, армией, чиновничеством, крупными землевладельцами, – но на их преданность он мог рассчитывать только при успешной политике и поддержке масс, которые лишь в малой мере контролировались этими кругами, разве что через сохранившееся католическое воспитание паствы. Стоило этой поддержке ослабнуть в результате лишения войны, которая к тому же шла к неминуемому поражению, и он был смещен. Все усилия режима по созданию «нового человека», идейного «труженика-солдата», обернулись тем, что в подавляющем своем большинстве итальянцы не желали умирать во имя возрождаемой Римской империи. В фашистскую партию и подчиненные ей женские, детские, студенческие и т.п. организации входила половина населения страны, но почти никто не выступил против низложения Муссолини. Когда немцы его выкрали и помогли организовать на севере Италии «социальную республику», у дуче нашлись защитники – часть воспитанных режимом офицеров и солдат все же встала на его сторону. Но куда больше было тех, кто влился в ряды партизан.

Как заметил Э. Нольте, одной из причин свержения Муссолини в июле 1943 года было его решение направить в армию всех сколько-нибудь дееспособных и верных фашизму иерархов партии, что привело к дезорганизации жизни в тылу. Выяснилось, что на их место пришли беспринципные карьеристы, быстро создавшие «систему клик, протекционизма и коррупции» [43, с. 339]. На своем закате фашистский режим показал, что все усилия по воспитанию «нового человека» в условиях государственного контроля за всеми и каждым не дали никакого результата.

Фашизм получил власть, когда на него был запрос. В XIX веке уже бывали ситуации, когда выступления пролетариата подавляла буржуазная милиция (скажем, в июне 1848 года во Франции). Таковой не оказалось в Италии в 1919–1921 годах, ее функции выполнили отряды фашистов. Пока деятельность дуче и его режим отвечали интересам широких слоев имущих, они поддерживали фашизм, вступали в партию (к 1940 году было 5 млн членов), скрывая иной раз свое недовольство теми или иными «злоупотреблениями». Но когда Муссолини вопреки национальным интересам вступил в союз с Гитлером (которого до 1937 года не единожды бранил), вовлек страну в ненужную войну, а под конец оказался просто марионеткой немцев, его покинули не только высшие чины армии, но и ведущие представители фашистской иерархии, вроде Дино Гранди или Джузеппе Боттаи.

Решающую роль сыграла позиция союза консервативных элит – королевского двора, армии и церкви.

В отличие от Италии, консервативная мысль в Германии первой половины XIX века была чрезвычайно богата на идеи. Ставшая популярной усилиями сначала К. Шмитта [30], а затем К. Мангейма [15] редукция немецкого консерватизма той поры к романтизму не отображает всю сложную картину, поскольку в разные периоды своего творчества к консерваторам относились далекие от романтизма мыслители. Достаточно упомянуть позднего Фихте и Гегеля времен написания «Философии права». Одни консерваторы испытывали ностальгию по средневековым сословиям, гильдиям и университетам, другие обслуживали Меттерниха в Вене, третьи прославляли осуществленные в Пруссии реформы и централизованное бюрократическое государство, тогда как четвертые, как Л. фон Штейн, уже обсуждали будущие реформы, необходимые для решения «рабочего вопроса». Даже краткий обзор многообразных консервативных учений потребовал бы отдельной статьи, а их исследованию следовало бы посвятить пару монографий. Эту предысторию следует иметь в виду, но прямым предшественником консерватизма времен Веймарской республики был Второй Рейх Бисмарка, о котором с сожалением вспоминали многочисленные монархисты, к которым принадлежал и рейхспрезидент фон Гинденбург.

Консервативная партия во Втором Рейхе была относительно массовой, тогда как Свободно-консервативная (или Имперская) сравнительно малочисленной. Обе были монархическими, но первая отстаивала интересы широкого круга аграриев – не только юнкерских хозяйств, – тогда как вторая была партией дворян и чиновников. Яркую характеристику депутатам этих партий дал М. Вебер: «...исключительно тогда, когда речь шла о денежных интересах прусских консерваторов или же об их монополии на доходы от ведомств, или (что то же самое) о их привилегиях в избирательном праве – вот когда выборная машина их ландратов беспощадно работала даже против короля. Тогда бывал (и теперь бывает) задействован весь жалкий аппарат «христианских», «монархических» и «националистических» фраз» [5, с. 69–70].

Положению этих партий в немецкой политике способствовало то, что Бисмарк, опиравшийся поначалу на поддержку либералов, с ними разошелся и предпочел иметь в рейхстаге правящую коалицию из консерваторов. Они отличались от тогдашних национал-либералов с их воинственными союзами, вроде *Alldeutscher Verband*, тем, что не поддерживали империалистическую политику захвата колоний, но вместе с принятием новой программы в 1892 году консервативная партия стала сближаться с этими организациями крупной буржуазии. Во время Первой мировой войны в рейхстаге появляется Немецкая партия Отечества (*Deutsche Vaterlandspartei*), стоявшая за командующими войсками Гинденбургом и Людендорфом, в которой часть консерваторов присоединилась к представителям национал-либеральных империалистических организаций. Возникает она в 1917 году как оппозиционная партия, поскольку правительство поставило в рейхстаге вопрос о возможности переговоров о мире. «Для правых был неприемлем никакой мир без победы Германии; предложение о проведении мирных переговоров было заклеено как «пораженческое»» [11, с. 226]. Именно эта массовая партия (более миллиона членов) стала после революции в ноябре 1918 года основанием главной партии немецких консерваторов в Веймарской республике.

Хорошо известна роль немецких буржуазных союзов с миллионами членов – *Alldeutscher Verband*, *Flottenverein*, *Kolonialgesellschaft* и др. – в подготовке и развязывании войны. Однако политику «*Drang nach Osten*» провозглашала и в то время и влиятельная часть германских социал-демократов. Ведущим журналом социалистов, в котором в центре внимания находились вопросы международной политики, был ежемесячник «*Sozialistische Monatshefte*», издаваемый двумя близкими друзьями Энгельса – Йозефом

Блохом и Эдуардом Бернштейном. Их позиции совпадали в том, что немецкий пролетариат должен поддерживать армию и флот, которые будут вести справедливую войну. В определении целей они расходились. Блох сочетал марксизм¹ с ницшеанством, писал о «прусской миссии», держался пангерманизма, а главным соперником считал Англию. Ей должна противостоять вся континентальная Европа во главе с Германией. Бернштейн у нас относительно хорошо знают как «ревизиониста», только неправомерно выводят его формулу «движение все, цель ничто» из тогдашнего немецкого неокантианства. На деле Бернштейн игнорировал всю немецкую философию, включая и Гегеля с его диалектикой. Находясь в политической эмиграции в Англии, он установил связи не только с «фабианцами», но также с британскими радикалами и либералами, в философии испытал влияние английского позитивизма той поры, а в политике держался идеи союза Германии и Великобритании. Как пишет автор обширного исследования Р. Флетчер: «Бернштейн всю свою жизнь был русофобом, видевшим в восточном гиганте смертельную опасность цивилизованной Европе... его удивительная и нехарактерная для него агрессивная *Ostpolitik* может показаться трудносочетаемой с чуть не врожденным “пацифизмом”, если только не иметь в виду то, что практически любое влияние, которое он ранее испытал – Маркс и Энгельс, британская радикальная традиция (Дэвид Уркварт, равно как и Кобден), германская буржуазная пресса того времени, социализм II Интернационала – все они разделяли глубокий страх и самую жестокую ненависть к русской мощи, русскому экспансионизму и варварству» [38, с. 171–172]. Бернштейн отстаивал идею Тройственного союза из Германии, Франции и Великобритании, который должен вступить в смертельную борьбу с Россией. Еще в 1914 году он писал, что это «дело цивилизованного мира», а потому был готов ради такой цели вернуть Франции отторгнутые у нее Эльзас и Лотарингию. Он выступал против прусского юнкерства в том числе и потому, что оно мешает союзу с Англией, чем-то напоминает русское дворянство; если в Германии победит буржуазия, то и союз с британцами возможен.

Хотя я не уверен в выводах Флетчера, пишущего об авторах “*Sozialistische Monatshefte*” как о «протофашистах», нет сомнения в том, что распространение идей национализма и шовинизма в рядах рабочего класса в дальнейшем помогло Гитлеру. Только в рядах тех же немецких социал-демократов подобные воззрения разделялись меньшинством и во время Перовой мировой войны, и после нее – это нынешние немецкие «левые» являются законными наследниками Бернштейна. Однако «протофашистами» в полном смысле слова можно назвать объединения части консерваторов и правых либералов, желавших реванша за поражение в войне и продолжение империалистической политики.

Таковой была Немецкая национальная народная партия (DNVP), не просто националистическая и монархическая, но и наследница империализма, шовинизма и расизма немецких предвоенных элит. Если партия либеральных консерваторов, Немецкая народная партия, возглавляемая видным политиком 1920-х годов Г. Штреземаном, была готова идти на союзы с партиями, поддерживающими Веймарскую республику и брать на себя ответственность за внешнюю и внутреннюю политику страны, то DNVP была антисистемной партией, отрицающей и Версальский договор, и Веймарскую конституцию. После того, как партию в 1928 году возглавил медиамагнат А. Гугенберг, она сделалась основной партией радикального национализма в рейхстаге, а после успехов НСДАП на выборах 1930 года, Гугенберг стал сторонником союза с ними в борьбе с «системой» («Гарцбургский фронт», 1931). Наряду с фон Папеном, он был главным инициатором вручения вождю нацистов поста рейхсканцлера и стал министром экономики в первом правительстве Гитлера.

¹ Всем тем, кто изучал исторический материализм, известно письмо Энгельса Блоху, в котором содержатся уточнения относительно базиса и надстройки, упреки тем, кто вульгарно сводит все сферы политики и культуры к экономике, и даже самокритика.

Если во внутренней политике между нацистами и радикальными националистами из DNVP имелись различия – NSDAP была массовой партией мелкой и средней буржуазии и не могла не учитывать ее интересов, тогда как антисемитизм в DNVP все же не был расовым, одни были монархистами, а другие желали строить «Третий Рейх» во главе с фюрером и т.д., – то во внешней политике расхождений не было. Общей целью была ревизия Версальского договора, перевооружение массовой армии и продолжение империалистической политики германской элиты предвоенной поры. Брошюра «Если бы канцлером был я», написанная в 1912 году главой «Всенемецкого союза» Г. Класом, уже содержала не только критику «вялой» внешней политики тогдашнего руководства Германии, но и прямой призыв к началу мировой войны за «жизненное пространство» для немцев. Он сформулировал ту программу, которую будет реализовывать Гитлер: радикальное уничтожение внутреннего врага, прежде всего «красных» (но уже упомянуты евреи), и решение социального вопроса посредством захвата и эксплуатации других народов. Во время Первой мировой войны озвученные союзом планы предполагали аннексию территорий и на Западе, отъем ряда колоний у Франции и Великобритании, отбрасывание России к границам Московии, поглощение и онемечивание славянских народов¹. Национал-социализм унаследовал свою внешнюю политику от этих союзов в почти неизменном виде [см. 37]. Достаточно вспомнить о германских планах дележа территорий на Востоке после подписания Брестского договора: «на севере вассальными государствами становились Швеция и Финляндия. Швеция должна была стать надежным поставщиком железной руды. В Германскую империю должны были войти Курляндия, Ливония, Эстония, Литва, значительная часть Польши... В «Большую Германию» входили Украина, Крым и Грузия. Украина и Кавказ обязаны были стопроцентно обеспечить экономическую и военную неуязвимость Германии... В сферу германского влияния входили Румыния и Болгария. Но самым большим призом Германии в войне становилась ее гегемония в России» [28, с. 597]². Гитлер лишь обосновал те же планы расовой доктриной, но в парламентских речах и документах его империалистических предшественников немцы уже именовались исключительно как «народ господ» (Herrenvolk).

Уже поэтому бессмысленно противопоставлять воззрения этой части немецких консерваторов нацизму – они подготавливали нацистскую идеологию, способствовали приходу Гитлера к власти, просчитавшись лишь в том, что желали использовать фашистское массовое движение в своих целях, тогда как нацисты сами подчинили эти элиты и превратили их в исполнителей своей воли. Да и не было в среде этих³ немецких националистов сколько-нибудь значимых политических мыслителей. Куда сложнее ситуация с так называемой консервативной революцией (далее КР), интеллектуальным движением, к которому принадлежало немалое число ведущих немецких философов и писателей, правоведов и социологов.

¹ Еще в 1894 году в программном документе Всенемецкого союза говорилось о возобновлении политики "Drang nach Osten", нацеленной на завоевание жизненного пространства германской расы, а такая политика предполагает отвержение прав на национальность у таких «неполноценных народцев», как чехи, словаки и словенцы, утрата коими «бесполезного существования» пойдет лишь «на пользу цивилизации».

² О том, как начинали разрабатываться эти планы в 1914 году, как они шли все дальше в своих империалистических устремлениях, какие элиты участвовали в разработке – эти вопросы хорошо освещены в известной книге С. Фишера [37]. Эти планы разрабатывались не только военными, промышленниками и дипломатами – важную роль в их подготовке играли профессор истории, права, экономики во главе с известным историком военного искусства Г. Дельбрюком.

³ Разумеется, к немецким националистам принадлежали и Фр. Науманн, и М. Вебер, и В. Зомбарт, но речь идет о той разновидности национализма, которая завладела умами немецких буржуа, входивших в империалистические союзы немецкого капитала, – Alldeutscher Verband был лишь самым влиятельным и вел за собой остальные объединения. В них состояло несколько миллионов бюргеров. Именно они в 1917 году, полагая, что Германия вскоре выиграет войну, создали Vaterlandspartei, дабы править после войны.

Рассмотрение выдвинутых ими концепций выходит далеко за рамки данной статьи. Отвержение «Версаля и Веймара» было общим со всеми немецкими националистами, но не случайно для характеристики их воззрений стало применяться словосочетание «новый национализм», употребленное впервые в статье Э. Юнгера, а затем распространенное на весь набор концепций В. Гурианом¹. В интересующем нас контексте это наименование значимо, поскольку «новый» национализм постоянно противопоставляется «старому», то есть всему набору идей и политической практике тех элит, которые привели страну к поражению и бездарной Веймарской «говорильне». Антилиберализм у многих «левых» представителей КР переходит в антикапитализм, в идею сотрудничества с Советской Россией в борьбе с англосаксонским империализмом. Круги «национал-революционеров» и «национал-большевиков» были противниками нацистов – лидер последних, Э. Никиш, выпустил в 1932 году книжку «Гитлер – проклятие Германии»; осуждался ими и итальянский фашизм. Относить воззрения этих преимущественно левых революционеров к консервативным вообще затруднительно, даже если принимать во внимание их пламенный национализм.

К национал-социализму имеет отношение множество писаний представителей «фёлькиш» с их расизмом и оккультизмом. А. Молер без достаточных оснований отнес их к КР, включая сочинения основателя «Аненербе» Г. Вирта, равно как и труды оказавших влияние на Гитлера австрийских «фёлькиш». Строго говоря, эти воззрения очень сложно охарактеризовать и как консервативные, и как революционные. Склонность некоторого числа наших любителей потолковать об Арктогее и Гиперборее и т.п. ведет к тому, что на всю КР переносится склонность к эзотерике, оккультной геополитике, утверждается близость к традиционализму Ю. Эволю² и т.п. В действительности политические идеи немецких младоконсерваторов были крайне далеки от всей путаной смеси расизма и оккультизма «фёлькиш», а в геополитике они предлагали расходящиеся и со «старым национализмом», и с нацизмом проекты. Все они читали Ницше, многие были ветеранами войны и на память цитировали Клаузевица, имели представление об экономике и социологии, ценили технику (а иные развивали философию техники), но уж никак не опускались до поисков Агартхи или Шамбалы³. Прусская воинская традиция предельно рациональна, поскольку стратегия и тактика ничуть не менее подчинены логике, чем медицина или инженерное дело.

Так как словосочетание «Третий Рейх» сегодня ассоциируется исключительно с нацизмом, стоит напомнить, что ввел его А. Мёллер ван ден Брук в книге с таким названием, которое очевидным образом указывает на средневековое учение Иоахима Флорского, но

¹ В книге «За будущее рейха. Национальное возрождение или политическая реакция?», вышедшей под псевдонимом В. Герхарт в 1932 году. В одной из лучших книг по этому поводу «Анатомия консервативной революции» ее автор, Ш. Бройер, принял «новый национализм» в качестве наилучшего обозначения основного содержания этой совокупности идей. Он обоснованно оспаривал классификацию этих идей, данную в известном труде А. Молера, но критики его книги столь же обоснованно отмечали, что далеко не все, в том числе и важнейшие теории в рамках консервативной революции соответствуют такому обобщению.

² Мне могут возразить, что Эвола сам критиковал оккультизм [см. 35], только отвергал он его во имя истинной эзотерики собственного традиционализма. Опубликованные в одном из главных журналов КР «Кольцо» две его статьи представляют собой восхваление итальянского фашизма. Читателям известного эссе У. Эко о «вековечном фашизме» (Ur-fascism) мог показаться странным его первый тезис о склонности фашистов ссылаться на единую древнюю традицию; в особенности странным это покажется изучавшим итальянский фашизм с его претензией на революционное новшество доктрины, несущей обновление человечеству, – это утверждал не только футурист Боттаи, но и сам Муссолини. Очевидно то, что Эко имел в виду Ю. Эволю, с последователями эзотерического фашизма которого он явно не раз сталкивался.

³ Единственный склонный к оккультизму младоконсерватор, Ф. Хильшер, был по своим идеям ближе к «фёлькиш», он стал сотрудником «Аненербе», хотя – исключительно по его собственным рассказам – участвовал в сопротивлении нацизму.

имеет и русские коннотации, – Мёллер был поклонником Достоевского и писал вместе с Мережковским вступительные статьи к каждому тому собрания сочинений. Нацисты хорошо понимали, что термин не вполне отвечает их доктрине, а потому в 1939 году из рейхсканцелярии пришел приказ о запрете его употребления в прессе. Обозначались им наследниками Мёллера, которых тогда именовали Jungkonservative, не только «третий путь» между либерализмом и социализмом, но и желанное будущее немецкого народа.

К началу 1930-х годов младоконсерваторы поделились на две группы, связанные с влиятельными кругами в политике. Как уже было сказано выше, объединившиеся вокруг журнала «Кольцо» и «Клуба господ» идеологи и публицисты постепенно (только к 1932 году окончательно) склонились к поддержке фон Папена, тогда как другая группа более молодых журналистов и ученых (среди ведущих представителей были 35-летние доктора экономики и социологии) преобразовала журнал «Деяние» (“Die Tat”) в think tank сначала военного министра, а затем канцлера фон Шлейхера. Оба эти канцлера были близки рейхспрезиденту Гинденбургу и следовали его намерению трансформировать Веймарскую республику если не в монархию, то в авторитарную плебисцитарную президентскую республику. За этим планом стояли не просто монархические убеждения Гинденбурга и его окружения и тем более не какие-то оккультные умозрения «фёлькиш», а реальная оценка положения Германии.

В условиях кризиса мировой системы капитализма ориентированная на экспорт экономика Германии была близка к краху, либеральная парламентская система при наличии многомиллионных массовых движений не могла им сопротивляться, не имея даже нормальной армии по условиям Версальского договора. Опасность того, что она будет сметена или «красными», или «коричневыми», неспособность оплачивать долги по краткосрочным кредитам – все это игнорировалось партиями рейхстага, которые из-за своих электоральных интересов не могли даже создать компромиссное коалиционное правительство. Открытость всему миру экономики Германии вела к тому, что в условиях кризиса аграрная продукция по демпинговым ценам ввозилась из США, Австралии и Аргентины, тогда как немецкие аграрии – далеко не только юнкера Пруссии – беднели и разорялись. Контролируемые социал-демократами профсоюзы требовали централизованно повышать зарплаты рабочим по всем отраслям. Были те, кто и в условиях кризиса с этим справлялся (химия, электротехника), но уже немецкая металлургия не выдерживала конкуренции. Требование автаркии и государственного регулирования рынка получило теперь поддержку и в кругах тех, кто ранее указывал на его полную несостоятельность в условиях международного разделения труда и общего «золотого стандарта». Только теперь не было ни работоспособного мирового рынка, ни стандарта.

Младоконсерваторы были антикоммунистами и никоим образом не желали прихода к власти направляемой из Москвы партии. Но ни итальянский фашизм, ни собственный национал-социализм не пользовались поддержкой: корпоративное государство дуче характеризовалось как нечто пригодное разве что для Италии, а темная сила масс во главе «с каким-то ефрейтором» казалась разрушительной для немецкого хозяйства да и опасной для образованной и культурной элиты. Указанные два проекта младоконсерваторов сходились в необходимости смены парламентской республики на президентскую и возвращение Германии в число независимых стран путем отмены ограничений на количественный состав армии и ее перевооружение. В остальном между ними существовали значительные различия. Но еще больше они отличались от планов нацистов, к которым примкнули «старые националисты».

Первый из упомянутых двух идеологических журналов младоконсерваторов (журнал «Кольцо») вообще трудно назвать «революционным», ему больше подходит прилагательное «пруссский». Относительно «пруссской военщины» и в самой Германии (у «левых»

публицистов, особенно в западных землях Германии), и за ее пределами сказано немало критических слов. Известная правда, конечно, содержится в шутке: у других стран есть армия, в Пруссии у армии есть страна. Забывается при этом, что Просвещение стало проникать в раздробленную на множество мелких владений Германию именно через Пруссию, в ней раньше многих других немецких государств было отменено крепостничество. И гумбольдтовский университет, и обязательное образование для всего населения, и меры Бисмарка по улучшению положения рабочих, и ничуть не меньшая, чем в Англии или Франции XIX века свобода печати также были «прусскими». В то время, когда представители Alldeutsches Verband и прочие немецкие националисты писали о «неполноценности» славян, Мёллер ван ден Брук в книге «Прусский стиль» говорил о том, что отличающая пруссаков от ограниченности бюргеров прочих немецких земель известная «широта взглядов» восходит к тому, что человеческий тип пруссака впитал в себя лучшие черты немцев и смешавшихся с ними славян.

«Прусский Рейх» младоконсерваторов предполагал унифицированное государство с ликвидацией сохранявшихся остатков деления на бывшие королевства и княжества, жесткую вертикаль власти. Начиная с «Пруссачества и социализма» Шпенглера, не единожды повторялось о склонности пруссаков к плановой организации жизни. Однако даже корпоративное государство итальянских фашистов казалось неприемлемым с точки зрения вмешательства в хозяйственную жизнь. Этатизм допускает элементы планирования, он дает наемным работникам большие, чем либеральная экономика, гарантии, допускается и суровый контроль над банками и внешней торговлей. Коммунизм рассматривается как непримиримо враждебная идеология, а СССР как несомненный враг. Но каких бы то ни было захватнических планов завоеваний на Востоке нет – они в ряде публикаций в «Кольце» признаются невозможными и ненужными. В качестве осуществимого предлагался план союза с Францией. Признавая окончательно утраченными Эльзас и Лотарингию, Германия открывает себе путь к экономическому и политическому проникновению в страны «малой Антанты», а наличие в них значительного по числу немецкого населения еще более усилит сближение со странами Центральной и Восточной Европы.

Проект тех, кто публиковался в журнале «Деяние» и стоял за фон Шлейхером, значительно более интересен и в каком-то смысле даже «революционен». Во-первых, признаётся, что капиталистическая система находится в упадке, мировой рынок уже не восстановить, а потому для спасения немецкой экономики требуется политика автаркии. Предполагаются значительные преобразования: национализация крупных банков и ряда отраслей промышленности, если не полная отмена, то ограничение свободной торговли с другими странами, высокие налоги на прибыль и ее перераспределение. Во внешней политике выдвигается идея сближения со странами Центральной и Восточной Европы, которые также страдают от мирового кризиса; будучи странами аграрными, они заинтересованы в немецком рынке, тогда как промышленности Германии нужны рынки этих стран. С Советской Россией предусматривается развитие уже сложившихся к тому времени отношений сотрудничества и кооперации. Зачастую общим врагом СССР и Германии объявляется империализм англосаксов.

Не вовлекаясь в обсуждение деталей, можно сказать, что проекты эти вообще могли осуществиться только в условиях авторитарной власти, способной подавить массовые выступления коммунистов и нацистов – и по отдельности, и одновременно. А риск этого имелся. К 1932 году попытка установления президентской диктатуры помимо парламента встретила бы сопротивление не только либералов, социал-демократов и католиков из партии «Центр», но и тех масс, которые вели за собой такие противники как КПП и НСДАП. По существу, Гитлер и его подчиненные не раз выступали с предупреждением к консервативным элитам: если попытаете установить военную диктатуру с запретом нацистов

и коммунистов (а такие планы были и у фон Шлейхера), то получите гражданскую войну. Как писал известный немецкий историк Г.-А. Винклер: «Нарастающее исключение воли масс ответственным лишь перед президентом кабинетом неизбежно вызывало массовый протест, и никто не выражал его решительнее, чем национал-социалисты» [51, с. 28]. Армия была небольшой, полиция подчинялась правительствам земель; фон Папен без законных оснований сверг правительство социал-демократов в Пруссии (еще одна особенность этой самой большой и якобы «реакционной» земли – она упорно голосовала за СДПГ), переподчинив тем самым полицейский аппарат. Но этого было недостаточно для установления авторитарной власти – без овладения парламентским большинством и реформ, проводимых в рамках закона, повернуть Германию к разновидности цезаризма не получалось. Именно тогда немецкие элиты приняли решение дать Гитлеру пост рейхсканцлера с убежденностью, что он будет «играть по правилам». Они сделали и следующий шаг, вручив ему чрезвычайные полномочия в марте 1933 года. А потом за несколько месяцев нацисты последовательно разгромили все эти партии и подчинили себе тех, кто его призвал: К лету 1934 года Германия стала совсем другой страной, а после «ночи длинных ножей» и смерти Гинденбурга в начале августа 1934 года власть нацистов стала безраздельной.

К проектам младоконсерваторов нацисты относились с презрением и ненавистью. О планах фон Папена договариваться с Францией главный идеолог НСДАП Розенберг писал, что это – проект не Европы, а «Франко – Иудеи». Гитлер в «Mein Kampf» посвятил десяток страниц разгромной критике идей Мёллера ван ден Брука и его последователей: никакой *Ostorientierung*, союзов со всякими неполноценными и тем более с большевиками. Возможен союз с фашистской Италией, желателен с Англией, которая продолжит править своими колониями, тогда как немцы их завоюют на Востоке. Нацисты умело использовали «пруссский миф» в своей пропаганде и, как заметил один из лучших немецких историков нацизма Г. Моммзен, «паразитировали на этом мифе» начиная с торжеств в Потсдаме в марте 1933 года. Они желали символизировать преемственность немецкой истории, в которой Гитлер выглядел как наследник Фридриха II и Бисмарка, только делали это не слишком убедительно. С идеями публицистов журнала «Деяние» имелись пересечения и сходства с той частью национал-социалистов, вышедших из НСДАП вместе с Отто Штрассером, который был несомненным социалистом и сторонником налаживания отношений с СССР. Выдвигался даже план единого экономического пространства от Рейна до Владивостока¹, а идея социалистической автаркии была близка и его брату, Грегору Штрассеру, убитому 30 июня 1934 года. Несмотря на название, партия Гитлера к социализму после этой «чистки» никакого отношения не имела. Она была союзом разных групп немецкой буржуазии под руководством самой воинственной и расистской ее фракции.

Судьба деятелей КР в нацистском государстве была разной. Одни были истреблены, другие сидели в лагерях, третьи отошли от политики. Некоторые сделали блестящую карьеру в подчиненных Геббельсу журналах и газетах, а кое-кто и в SS. Но были и те, кто принял активное участие в Сопротивлении. Редко вспоминают о том, что молодые люди из «Красной капеллы» начинали свою деятельность в объединениях и изданиях «национал-революционеров». В ФРГ столь же редко вспоминают о том, что идеология тех, кто готовил переворот в 1944 году, была продолжением концепций КР – места либеральной демократии и парламентаризму в ней не было, поскольку они являются порождениями массового общества, которое на выборах всегда рискует получить такое чудовище, как Гитлер².

¹ Иногда, не спрашивая мнения голландцев, его называли «От Флиссингена до Владивостока». Флиссинген – порт на западной границе Нидерландов в устье реки Шельды.

² См. ряд публикаций Г. Моммзена, в частности [42]. В отечественной литературе нет серьезных исследований на эту тему. Лучший обзор на основе немецкой литературы см. [24, с. 266–284].

В отличие от Муссолини, свергнутого самими консервативными элитами при поддержке немалой части фашистских функционеров, в Германии попытки сместить Гитлера были со стороны армии (еще в 1938 году был план ареста и уничтожения)¹, а потом неудачные попытки покушения, вплоть до июля 1944 года, но с тогдашними элитами заговорщики почти никак не были связаны. Немецкий правящий класс настолько слился с фашистской партией или настолько был ей подконтролен, что до второй половины 1944 года, когда стала окончательно понятна перспектива проигрыша в войне, вообще не думал о смене правителя. Даже тому, кто не читал книг по социологии и политологии, очевидна та истина, что даже самый харизматичный лидер принадлежит группе, причем власть этого вождя сохраняется, пока он этой группе служит. Примеров свержения монархов, нарушивших данное правило, в истории предостаточно. К 1944 году единственным функционером, который мог заменить фюрера, был следивший за остальными Гиммлер, а потому разговоры смещения и замирения на Западе, чтобы вместе сражаться на Востоке, начались в его окружении². Но было понятно и то, что даже при наличии заинтересованных лиц на Западе, никто из руководителей Великобритании и США на тот момент не стал бы заключать договор с Гиммлером или человеком из его окружения – нацистский режим заслуженно обладал репутацией преступного и людоедского. В отличие от итальянского фашизма, который исчез, растворившись после свержения дуче, национал-социализм до конца поддерживала большая часть населения, а армия упорно сражалась до мая 1945 года. Верхушка политической элиты была осуждена в Нюрнберге и на нескольких последующих процессах, основная ее часть прошла через непростой (а иногда и поверхностный) процесс денацификации. Во всяком случае, тот немецкий правящий класс, который способствовал развязыванию как Первой, так и Второй мировой войны прекратил свое существование. Его остатки приняли новые правила игры и сделались младшими партнерами США, каковыми они остаются и поныне.

Национал-социализм был революционным движением, пошедшим на союз с экономической и политической элитой страны и полностью себе ее подчинившим. Хотя нацисты поглотили и правые партии, и военизированные их отряды вроде «Стального шлема», они сами вынуждены были идти на уступки. План построения новой армии на основе штурмовиков СА принадлежал не только Рему, но и самому Гитлеру. Это вызывало недовольство офицерского корпуса, Генштаба, Гинденбурга. Так как верхушка СА к тому же желала «продолжения революции», от них пришлось избавляться расстрелами. Все европейские революции начиная с английской включают в себя момент подавления наиболее воинственной и неуправляемой части после победы, будь то левеллеры и диггеры, «бешеные» и коммунисты Бабёфа, наши троцкисты, «перманентная революция» которых была нацелена на борьбу с «бюрократией», или с «термидорианцами», то есть с получившей властные и материальные возможности новой элитой. Муссолини обуздал своих сквадристов почти бескровно, Гитлер уничтожил пару сотен, в Советской России счет шел на сотни тысяч, но тут террор был продолжением не почти бескровной революции, а четырех лет гражданской войны под лозунгами уничтожения «классового врага». В нацистской Германии террор обрушился на «внутреннего врага», к коему были причислены прежде всего коммунисты и евреи. От провозглашенных еще до Первой мировой войны планов *Alldeutsches Verband* эта программа «очистки» Германии нацистов ничуть не отличалась.

Вожди НСДАП иногда ссылались на доктрину корпоративного государства, но на практике к ней не обращались. С безработицей и экономическим кризисом в целом наци-

¹ Так называемый заговор Остера, в котором участвовали многие военачальники начиная с Л. Бека, не желавшие начала войны и предлагавшие сместить фюрера.

² Пусть весьма отдаленно и с множеством художественных домыслов эта ситуация представлена в известном отечественном телевизионном сериале.

сты справились быстро – хозяйством до 1936 года руководил опытный финансист Я. Шахт, меры которого нередко сопоставляют с кейнсианской теорией и «Новым курсом» Рузвельта. Часто эти успехи объясняют милитаризацией экономики («пушки вместо масла»), но в первые годы своего правления Гитлер был еще вынужден соблюдать наложенные Версальским договором ограничения на вооруженные силы. Решение о четырехлетнем плане подготовки хозяйства и армии к войне было принято в сентябре 1936 года, причем Шахт был его противником и ушел в отставку, а его место занял Геринг. С этого момента можно говорить о возрастающем огосударствлении экономики. Оно было своеобразным: в офисах корпораций появлялись чиновники и партийные бонзы, а в бюро государственных чиновников – управляющие и администраторы частного бизнеса. Можно сказать, что управление этим государственно-монополистическим аппаратом еще до войны шло «в ручном режиме». То же самое можно сказать о трансформации рабочего движения в духе идеологии «народного сообщества» (Volksgemeinschaft). Не останавливаясь на том, как работали программы, вроде Kraft durch Freude, можно сказать, что происходила интеграция рабочего движения в массовое индустриальное общество; даже противники нацистов из бывших социал-демократических профсоюзов не могли не замечать того, что рабочие поддерживают режим. «К примечательным успехам национал-социалистской социальной политики нужно отнести расширение чувства социального равенства» [39, с. 98]. Элементы революционной программы были осуществлены целенаправленно, а целью была завоевательная война. Вожди НСДАП хорошо усвоили урок Первой мировой войны, когда в революцию не выдержал тягот и рухнул тыл – для тотальной войны требуется тотальная мобилизация. Объявляя войну США, Гитлер в своей речи не случайно остановился на том, что «американской плутократии» объявляет войну «немецкое социальное государство».

В истории не существует некой «генеральной линии», согласно которой возвышаются царства или совершаются революции. Расхожая схема догматичных марксистов, согласно которой Гитлера привел к власти крупный капитал, ранее его финансировавший и нацеливавший на борьбу с пролетариатом, относится не к историографии, а к идеологии. Приход его на пост канцлера был делом случая, причем из закулисных групп влияния этому способствовали остальбские юнкера, да и то не из любви к Гитлеру, а из ненависти к фон Шлейхеру, обещавшему затронуть их материальные интересы. Проработав он канцлером еще год-другой, и НСДАП утратила бы значительную часть голосов, а тем самым и свой политический вес. Немецкая крупная буржуазия присоединилась к Гитлеру в немалой части в марте 1933 года, а целиком уже в 1934 году. Но присоединилась по-немецки основательно и решительно, поддерживая все без исключения решения, будь они даже явно преступными. Из примерно пары сотен лиц, которые прорабатывали план «окончательного решения еврейского вопроса» и «план ОСТ», приговаривающий к уничтожению 35 миллионов восточных славян, лишь единицы принадлежали к функционерам НСДАП и СС. Остальные были чиновниками разных ведомств, непосредственно связанными с финансовыми и промышленными группами. Ведь рабов нужно перевозить по железным дорогам, их труд следует рационально использовать и т.д. Из этих пары сотен ответили за все это по суду только нацистские бонзы, остальные сделали блестящую карьеру в послевоенной ФРГ.

Теории тоталитаризма применительно к нацистскому режиму верны в том отношении, что тоталитарный строй нацелен на единообразное выравнивание (Gleichschaltung) и социальной действительности, и мысли, предельное упрощение сложного социума государственной опекой и партийной промывкой мозгов. Даже без всякой теории управления мы понимаем, что чем сложнее объект управления, тем сложнее должен мыслить управляющий им субъект. В Италии и в СССР упрощение одних аспектов, предшествовавших режиму, все же сопровождалось усложнением других – индустриализация и модернизация

потребовали многих жертв (среди которых были и бессмысленные). В Германии единственным осмысленным приобретением была армия, но ее можно было восстановить и без всего того, что принес немцам фашизм. Исходно революционная партия низшего среднего класса слилась с союзами империалистического капитала, причем вобрала в себя все худшее из двух составляющих. К этому союзу, равно как и к его двум составляющим трудно подходят традиционные обозначения идеологий – он вобрал нечто от консерватизма, либерализма и социализма, но получилось нечто мало похожее даже на другие разновидности фашизма. Страна превосходной литературы и философии (Dichter und Denker), лучших в Европе да и во всем мире университетов и научных лабораторий стала управляться теми, кто навязал ей примитивную расовую доктрину, служащую обоснованием мирового господства. Примерно двумя миллиардами тогдашнего населения планеты должны были править около 100 миллионов представителей Herrenvolk.

Только в Германии консервативные элиты и консервативная мысль были полностью поглощены фашистской партией, причем хотя бы минимальное сопротивление было со стороны довольно своеобразной версии консерватизма, каковой является КР. Впрочем, к 1933 году все буржуазные партии сдались практически без всякого сопротивления, а национал-либералы своей деятельностью и идеологией сыграли даже большую роль в формировании нацизма¹. После войны в образовании новых партий некоторую роль сыграли те, кого можно отнести к либеральному консерватизму: выходцы из Немецкой народной партии и католической партии «Центр» (Аденауэр) влились в блок ХДС/ХСС.

Историками не единожды ставился вопрос о том, почему немецкое бюргерство, сыгравшее столь большую роль в европейской науке и культуре, превращаясь в правящий буржуазный класс, перешло от умеренного национализма времен борьбы за объединение Германии, от вполне вменяемых либерализма и консерватизма, к империализму в его крайних формах, а затем и к национал-социализму. Вопрос остается важным и донныне, но целиком выходит за пределы данной статьи².

Португалия и Испания

Два режима в странах за Пиренеями практически во всех учебниках, словарях и энциклопедиях обозначаются как «фашистские». Оба они на три десятилетия пережили фашизм в Италии и в Германии, исчезнув в 1974 году в Португалии и в 1975-м после смерти Франко в Испании. Обе страны были когда-то огромными колониальными империями, и если Испания в 1898 году утратила почти все остававшиеся заморские владения, то Португалия немалую их часть сохраняла вплоть до 1974 года. В то же самое время они настолько отстали в промышленном развитии, что в международной политике не играли почти никакой роли. У преимущественно аграрных стран сохранялись и остатки феодальных отношений – земли принадлежали наследникам аристократии XVI–XVII веков. Формально они были конституционными монархиями – в Португалии до 1910 года (в 1908 году были убиты король и наследник, а через два года провозглашена

¹ См. документированное исследование [33], в котором показано, что политические программы империалистических союзов до Первой мировой войны во внутренней политике были именно либеральными, а сами они – и прежде всего Alldeutscher Verband – находились в оппозиции к тогдашним консервативным правительствам, а довольно часто не только канцлеру, но и кайзеру.

² По этому поводу написано немало книг, в том числе крупными философами и социологами [см., напр., 44, 34]. К сожалению, в трудах даже лучших немецких историков – Г.-У. Велера, Г.А. Винклера, Г. Манна, Э. Нольте, Г. Моммзена, Т. Ниппердея и др., постоянно присутствовало возложение вины за нацизм на ту или иную социальную группу – происходило перенесение на прошлое партийной борьбы между левыми (СДПГ) и правыми (ХДС) в послевоенной ФРГ. Правда, на сегодняшний день их труды кажутся вершиной объективности, если сравнить с сегодняшними проникнутыми политкорректностью сочинениями.

республика), в Испании до революции 1931 года, но на практике выборы в парламент представляли собой целую систему подкупа и запугивания избирателей. Этим в особенности отличалась Испания, где сколько-то отвечающие закону выборы проходили только в крупных городах, а в провинции деньги передавались своего рода кураторам (или даже «решалам»), которых обозначали позаимствованным из одного из индейских языков словом «кастик» (племенной вождь)¹. Он получал деньги и обеспечивал результат тому, кто больше заплатит, – правила олигархия. В Португалии после провозглашения республики с 1910 по 1926 год сменилось 44 правительства и было 17 попыток государственного переворота, не говоря уж о восстаниях и забастовках; из восьми избранных президентов лишь один пробыл на своем посту весь срок. Коррупция настолько поразила государственный аппарат, что стали возможны невероятные финансовые аферы, а раздутый государственный бюджет разрывался.

Собственно говоря, историю того, что называется «фашистским режимом» в Португалии, приходится начинать с военного переворота в 1926 году. Этот режим создала армия, а через полвека она же этот режим и свергла, она была его опорой и всегда отчасти его контролировала. Осуществивший переворот генерал Кармона четырежды избирался на пост президента и умер в 1951 году на этом посту. Уже этим португальское «Новое государство» напоминало не столько фашистские режимы, а типичные для Латинской Америки военные хунты. Так как сами военные не обладали должной квалификацией для ликвидации последствий всеобщей коррупции, Кармона пригласил на пост министра финансов известного своей неподкупностью профессора Коимбрского университета Антониу Салазара, который за несколько лет обеспечил прозрачность трат бюджета, в несколько раз увеличил собираемость налогов, нашел средства на социальную сферу, армию, образование. Началось постепенное экономическое развитие, пусть не очень быстрое, но непрерывное – это была одна из черт будущего «Нового государства». Развитие невозможно без стабильности, только стабильность иной раз сказывается на скорости – Салазар и военные предпочли стабильность, получив при этом доверие большей части населения. Если республика 1910–1926 годов отличилась своей антиклерикальной риторикой и захватом церковных владений, то Салазар был «добрым католиком», что не могло не нравиться преобладавшему в Португалии слою крестьян.

В 1932 году Салазар стал премьер-министром, а в 1933-м на референдуме две трети португальцев проголосовало за конституцию Нового государства (против было лишь 6 тысяч голосов, треть избирателей воздержалась), причем со времени этого референдума право голоса получили и женщины. Опорой этого режима стала партия Национальный союз, вооруженным крылом которой был Легион. Новое государство было объявлено корпоративным, но обоснование его имело мало общего с идеями итальянских фашистов. Салазар взял в качестве базовых папские энциклики, провозглашающие католическое социальное учение. Коммунистов преследовали, но под запрет попадали и радикальные фашисты², желающие брать пример с Италии и Германии. Антисемитизм был вообще чужд Салазару, как и любой расизм, расходящийся с католической верой. Можно говорить о некотором влиянии на Салазара доктрины «Action française» Ш. Моррасса, но за вычетом монархизма и антисемитизма.

¹ Для этой системы даже был изобретен термин *casiquismo*, который доньше употребляется по отношению к некоторым странам Латинской Америки. В Испании эта система была целиком разрушена только при режиме Франко, поскольку при так называемой «органической демократии» франкизма «касики» лишились своих возможностей. Режим *каудильо* истребил «касикизм». Это не означает того, что коррупция исчезла, она поменяла свой облик.

² Португальское фашистское движение попало под запрет 1934 года одновременно с организацией национал-синдикалистов, которых обвиняли в том числе в пропаганде чуждых португальцам иностранных моделей, в культе силы и вождизме – все это было неприемлемо для добрых католиков.

Во внешней политике Португалия исторически находилась под значительным влиянием Великобритании. Восставших в соседней Испании националистов Салазар поддерживал, но официально в гражданскую войну не вмешивался. Во время Второй мировой войны Португалия сохраняла нейтралитет, поначалу ведя торговлю с обеими воюющими сторонами, но с 1944 года при давлении англичан продажи необходимого немецкому оружию вольфрама прекратились, тогда как американцы получили базу на Азорских островах. В 1949 году Португалия вступила в НАТО, а английский протекторат постепенно сменился на американский.

Не вдаваясь в историю Нового государства, в его попытки сохранить колонии, экономическую политику и социальную сферу, обращу внимание только на то, что явно отличается режим от фашистских аналогов. Прежде всего в этом режиме отсутствовал харизматичный вождь, вовлекающий массы в политическую борьбу. Фашизм политизирует и радикализирует массы, а консерватизм стремится к их деполитизации. В случае Португалии мы имеем дело с авторитарным консерватизмом, опирающимся на армию и полицию, а созданная правящая партия никогда не играла большой роли ни в управлении, ни в идеологии. Руководил правительством скромный, ведущий почти монашескую жизнь профессор права, который привлекал своих коллег на министерские должности, – в некоторые периоды треть кабинета министров состояла из профессоров. Хотя конфликты с католической церковью случались да и была провозглашена свобода вероисповедания, церковь занимала ведущее место в духовном окормлении португальцев. Никакого воспитания «штурмующего небо» *homo novus* не только не предполагалось – на это был строгий запрет. Массовые шествия штурмовиков, театральные речи вождей на стадионах и площадях – вся эта драматургия считалась неоязычеством. Салазар не единожды осуждал все формы цезаризма, будь он правым или левым, именно как идолопоклонство. Желание сохранить остатки империи и возбуждаемый по этому поводу национализм, воскрешающий память о воспетых Камозансом предках, все же ничем не походил на культ нации Муссолини и тем более на расовую мифологию нацизма. В официальную доктрину режима входил «лузитано-тропикализм»: Лузитания (название римской провинции) объединена португальским языком, католической верой, общей ментальностью с Бразилией, Анголой, прочими колониями и их народами. Разговоры об эксплуатации несчастных негров Африки, конечно, приветствуются сегодня в американских и европейских университетах (BLM), но только с начала 1960-х годов Португалия тратила денег на колонии на треть больше, чем от них получала, а после того, как там началась антиколониальная партизанская война, эти расходы возросли вдвое.

Настаивающим на том, что фашизм есть террористическая диктатура «наиболее империалистических элементов финансового капитала» (Димитров), стоит приглядеться к деятельности авторитарного режима, остановившего разворывание бюджета под либеральные речи в парламенте, к Новому государству, которое вступало в конфликт с международным капиталом, – оно мешало осваивать нефть и алмазы в Анголе. Салазар вообще испытывал неприязнь к крупному капиталу и подозревал его в том, что тот желает ограбить простого португальца. Лучше быть победнее, но опираться на свои силы – такова доктрина Нового государства. Терроризм же этого строя сводился к тому, что из оппозиционеров по-настоящему преследовали только коммунистов и анархистов, ссылая их на острова Зеленого Мыса. Смертной казни в Португалии не было. За сорок лет Нового государства в той или иной степени преследовали по политическим обвинениям 30 тыс. человек, реальные сроки получили немногие. В политической полиции (PIDE) служило всего 300 человек – даже с учетом того, что страна невелика по населению, цифра характеризует размах репрессий. Режим долгое время устраивал население аграрной страны, диссидентов было немного, а оппозиция стала заявлять о себе с выборов 1958 года и еще более с той поры,

как после некоторых экономических реформ начала 1960-х годов началось быстрое развитие промышленности, рост городов. Возникли социальные слои, которым было тесно в Новом государстве.

Даже пал этот режим в то время, когда М. Каэтану, заменивший перенесшего инсульт профессора, начал переход к многопартийному режиму, ослабил цензуру и разрушил Легион. В Португалии на закате Нового государства новые поколения, поработавшие или получившие образование в странах Западной Европы, уже не помнили маразма Первой республики, были недовольны удушливой атмосферой застрявшего во времени реликта другой эпохи. Никто не противился свержению режима во время «Революции гвоздик». Судьбу страны решили офицеры, понимавшие бесперспективность продолжения войны в африканских колониях. Поначалу у власти оказался генерал Спинола, но выдвинувшие его младшие офицеры («движение капитанов») свергли его, так как исповедовали социализм, – борьба между группами военных за искомую его версию длилась два года, пока они не пришли к тому социальному государству, которое существует поныне.

Консерватизм католического толка в Португалии кое-что перенял у фашистских режимов 1930-х годов, но никогда в строгом смысле сам таковым не был. Правая авторитарная диктатура имелась, клерикализм, который левые именуют «реакционным», присутствовал, но не стоит путаться самим и запутывать других. Отсутствовала и идейная борьба, поскольку значимых политических теорий, будь они консервативными или фашистскими, просто не было. Либерализм отвергали на том простом основании, что заимствованными из Англии словами прикрывалась коррупция в Первой республике, коммунизм – за безбожие и намерение упразднить частную собственность во всех ее видах. В 1920–1930-х годах адептов этих идей в Португалии почти не было, число их возросло лишь в 1960-х. Португалия как была, так и осталась самой бедной страной Западной Европы, но, если верить статистике, медленное развитие в период Нового государства¹ шло все же быстрее, чем в последовавшие за ним десятилетия.

В Испании ситуация была совершенно иной. Само слово «либерал» возникло во время наполеоновской оккупации страны: в Кадисе на освобожденной от захватчиков территории действовали кортесы, в которых столкнулись две партии. По одну стороны были те, кого называли «великодушными», «щедрыми» (*los liberales – liberalidad* происходит от латинского *liberalitate*), а других «раболепными» (*los serviles*) – первые были конституционалистами, а вторые сторонниками абсолютной монархии. Кортесы утвердили тогда конституцию, но она была отменена вернувшимся после изгнания королем Фердинандом VII, он был вынужден вернуть ее в результате восстания Риего, но после его подавления вновь отменил в 1823 году. Не имея детей мужского пола, король передал корону малолетней дочери Изабелле, а не брату Карлосу. При власти регентского совета во главе с матерью королевы, либералы и прогрессисты приняли конституцию, создали двухпалатный парламент, тогда как Карлос Бурбон, имевший множество сторонников, начал первую из трех гражданских войн, называемых карлистскими. Когда речь идет о монархистах в Испании XIX–XX веков, то следует отличать тех, кто поддерживал идущую от Изабеллы поныне правящую династию Бурбонов, от потомков Карлоса «Старшего», поскольку продолжавший гражданские войны сын также носил это имя. Если первые были конституционалистами, то вторые положили начало испанскому традиционализму – идеям возврата к монархии времен XVI века, испанскому «золотому веку» колониального могущества, побед испанской пехоты (*tercios*), истинно католической веры, но также расцвета живописи, поэзии и театра.

¹ И не такое уж медленное: с 1950 по 1970 год средний ежегодный прирост ВВП составлял 5,7%.

На те слои населения, которые поддерживали стороны в династическом конфликте, не так уж легко «накладываются» привычные сетки понятий: правящую династию вместе с либералами (*moderados* – «умеренные») и прогрессистами поддерживали владельцы крупных поместий, большая часть аристократии, тогда как карлисты, являвшиеся чуть ли не по определению «реакционерами», набирали свои войска из крестьян Наварры и севера Кастилии – своего рода испанской Вандеи. Эти добровольцы пели гимн “*Oriamendi*”, звавший сражаться за отечество, короля и веру, песни, вроде “*Calzame las Alparagatas*”, в которой доброволец идет в бой, обещая «убить парочку либералов», но армия (*requete*) была именно крестьянская с офицерами из нищих идалго. С позднего средневековья на севере Испании сохранялись свободные от феодалов наследственные наделы крепких крестьян, преданных церкви католиков, помнивших участие предков в Реконкисте и в войне против французов в 1808–1814 годах. Именно с этой борьбы начинается разделение испанцев на тех, кто хотел «европеизировать» отставшую страну, и тех, кто отстаивал национальную традицию (*Hispanidad*), которой угрожают всякие «офранцузенные» (*afrancesados*), к каковым относились сначала либералы, а затем социалисты и коммунисты. В 1936 году 60 тысяч добровольцев Рекете станут ядром тех отрядов националистов, которые во главе с Франко выступят против II Республики, объявив о начале крестового похода.

Проблемой всякого традиционализма является то, что традиция оказывается в небольшой мере выдуманной из потребностей сегодняшнего дня. Это относится и к Испании, где не без влияния романтизма начали создавать образ вековой традиции. Х. Ортега-и-Гассет как-то написал о том, что даже бой быков, возводимый многими к седой древности, сформировался в нынешнем виде только в XVIII веке. В терминах политической теории монархический традиционализм относился к консерватизму *status quo ante*, желавшему вернуться в идеализированное славное прошлое, тогда как монархисты-конституционалисты были никак не либералами, а консерваторами *status quo*. К последним, то есть к «умеренным», относились два мыслителя, с которых начинается консервативная мысль в Испании. Один из них, Х. Бальмес, почти не известен за пределами Иберийского полуострова, поскольку этот проживший короткую жизнь богослов, приспособлял идеи Фомы Аквинского к собственной версии «философии здравого смысла», а в политической теории обосновывал преимущества монархии, которая верна традиции, но может идти на реформы, дабы сохранить порядок и воспрепятствовать революции.

Другой консерватор, Х. Доносо Кортес, напротив, получил широкую известность по всей Европе своей книгой «Опыт о католицизме, либерализме и социализме» (1851), а затем через свое влияние на ряд мыслителей XX века, прежде всего на К. Шмитта. Начал этот аристократ как либеральный консерватор, видный дипломат и депутат кортесов от *moderados*, но затем сделался воинственным противником либерализма и социализма, любящей парламентские дебаты буржуазии (*la clase discutidora*), сторонником «диктатуры шпаги», которая все же лучше «диктатуры кинжала». В известной речи о диктатуре в кортесах, он говорил, что свобода, о которой так любят толковать революционеры всех толков, уже мертва, а цивилизация движется к установлению самой жестокой в мировой истории деспотии [13, с. 44] – можно сопоставить это видение с прозрениями нашего К. Леонтьева, а требование диктатуры – с книгой Ш. Морраса «Диктатор и король» (1899). Для середины XIX века во времена чрезвычайно быстрого развития Европы и господства либерального прогрессизма эта пессимистичная «политическая теология» была чем-то несвоевременным. В Испании она не была востребована и традиционалистами, так как для Доносо Кортеса возврат к идиллической традиции был уже невозможным, да и сама она понималась как начало распада из-за отпадения уже аристократии XVII–XVIII веков от христианства. К тому же католические теологи подвергали его критике за дилетантское богословие – с точки зрения томистов, Доносо представлял чуть ли не как еретик, склоняющийся к манихейству.

Куда ближе к ортодоксии стоял во второй половине XIX века замечательный историк испанской литературы, живописи и науки М. Менендес Пелайо, который поспособствовал своими научными трудами не только росту знаний о достижениях испанцев «золотого века», но также развитию испанского национализма. Он спорил не только с теми, кто по незнанию или злокозненности отрицал достижения испанцев, – публицистами, близкими иным из наших «западников» XIX века, полагавших, что следует отбросить все «остатки темного средневековья» и «всему учиться у Европы». Главные его оппоненты принадлежали к католическим богословам, для которых чуть ли не единственным достижением испанцев «золотого века» была так называемая вторая схоластика во главе с иезуитом Суаресом, а все остальное для такого традиционализма было или малозначимо, либо вообще вводило в соблазн. Понимание нации у Менендеса Пелайо было уже современным и не столь уж далеким от того определения, которое дал нации Ренан. Из него чаще всего приводят «ежедневный плебисцит», забывая о том, что Ренан говорил также о всей духовной традиции народа, ради сохранения которой такой плебисцит и производится.

Радикализации политической мысли поспособствовали поражение Испании в краткосрочной войне с США в 1898 году и утрата большинства еще оставшихся колониальных владений. Выразителями разных тенденций были представители так называемого «поколения 1898 года» – литераторы и публицисты, философы и экономисты требовали перемен. Одни из них были «европеизаторами», требовавшими скорейших реформ, другие открывали «вечную Испанию» и делались традиционалистами. Поэзия, проза, театр, философская эссеистика, зарисовки путешественника по стране – вот основные жанры деятельности представителей этого поколения. К нашей теме имеют отношение немногие из этих литераторов, причем к политике в собственном смысле слова они перешли уже в 1920–1930-х годах. Из оказавших некоторое влияние на консерватизм, а отчасти и на испанский фашизм иногда называют рано покончившего с собой А. Ганивета, чуть чаще – перешедшего от позитивизма и марксизма к религиозному экзистенциализму и апологии *Hispanidad* М. де Унамуну, практически всегда главного идеолога испанского традиционализма Рамиро де Маэсту. Так как он был схвачен в Мадриде и бессудно расстрелян как фашист республиканцами вскоре после начала франкистского мятежа, его регулярно относили к фалангистам, хотя он не имел к ним никакого отношения.

Этот поначалу почитатель Ницше и сторонник анархо-синдикализма, будучи журналистом в Лондоне, склонился к фабианскому социализму, но затем, уже после Первой мировой войны, стал истовым католиком и монархистом. Его первая консервативная книга «Кризис гуманизма» вышла в 1919 году и несла след размышлений по поводу закончившейся мировой войны. У него еще сохраняется в ней свойственный социалистам акцент на виновности капитализма в развязывании войны, но капитализм он увязывает с протестантской Реформацией, а выход находит в католической традиции. Он вступает в политику во время диктатуры генерала М. Примо де Риверы, был несколько лет послом в Аргентине и в эти годы становится главным представителем авторитарного монархизма, видя в Доносо Кортесе своего прямого предшественника. В издаваемом им журнале он публиковал статьи молодых лидеров фашизма, но сам от них был идейно далек, поскольку сама идея массовой партии вызывала у него сопротивление¹.

¹ Автору этих строк доводилось почти полвека назад читать главный труд Рамиро де Маэсту «Защита *Hispanidad*» (1934) и посмертно выпущенный при Франко сборник статей «Испания и Европа», и уже в те советские годы возникал вопрос о принадлежности его к фашизму, каковая провозглашалась не только советскими историками, но и в доступных в то время трудах западных исследователей. В этих работах Маэсту не только нет близких фашизму тезисов, но и содержится довольно язвительная критика итальянского режима. Даже в тогдашней бранчливой терминологии он мог быть квалифицирован как монархист и контрреволюционер, реакционер и ретроград, реставратор давнего прошлого, но не было ни следа свойственных фашистам утверждений и лозунгов. Не во всех идеях, но стилистически Маэсту близок К. Леонтьеву.

Движение консервативной мысли к идее авторитарной диктатуры происходит после Первой мировой войны. Испания в ней не участвовала, немало от этого выиграла экономически, но сама коррумпированная политическая система вела к обострению и социальных, и региональных противоречий. Последние были этническими – Каталония и Страна басков были промышленно развитыми регионами и желали значительной автономии, а нищие сельскохозяйственные провинции не развивались в том числе из-за сохранявшихся полуфеодалных владений аристократии. Как уже говорилось выше, парламентская система была в руках тех, кто именовал себя либералами, но избирался за счет подкупа («касикизм»). Конечно в крупных городах и промышленных районах избирали социалистов в Кастилии и анархистов в Каталонии, но процент рабочих да и жителей больших городов вообще был относительно небольшим. Однако там, где рабочие обладали хоть каким-то весом, начинались забастовки, переходящие в восстания. Социалисты той поры еще были революционной партией, что показала всеобщая забастовка 1917 года, сопровождавшаяся захватами предприятий и актами насилия, против которой правительство направило войска.

Диктатура генерала Мигеля Примо де Риверы началась именно с того, что его назначили в 1922 году военным губернатором Барселоны, находившейся в руках анархистов и сепаратистов, а потому совершенно неуправляемой. Он навел там жесткий порядок, а в 1923 году, в разгар очередного парламентского кризиса с согласия короля распустил кортесы и возглавил военное правительство. Так как он установил хорошие отношения с Италией, его уже тогда начали называть фашистом, хотя военная диктатура вообще была лишена какой бы то ни было идеологии. Не стану вдаваться в экономические и социальные меры этого правительства. Достаточно сказать, что за сотрудничество с диктатурой выступали и лидеры социалистов (Х. Бестейро, Ф. Ларго Кабальеро, которые прежним правительством были приговорены к пожизненному заключению за организацию стачки в 1917 году), видевшие в ней силу, способную улучшить положение рабочих. Обращу внимание только на деятельность важнейшего его члена, не принадлежавшего к армии, Х. Кальво Сотело. Он ответил своей жизнью за то, что делал во время диктатуры, – активно мешал восстановить многопартийную систему и в особенности прервать движение к захвату власти социалистами и анархистами.

Республиканцы убили Кальво Сотело еще до начала мятежа в июле 1936 года, причем именно это террористическое убийство ускорило его начало. Оно было не просто бессудным – лидера парламентской группы арестовали полицейские офицеры, члены социалистической партии¹, которые пристрелили его по дороге и выбросили труп в реку. Впоследствии это опять-таки оправдывалось тем, что уничтожили фашиста. Но если посмотреть на его деятельность, то сначала как ученый, а затем как губернатор Валенсии он занимался вопросами реформы местного самоуправления, а потом, во время военной диктатуры, получив пост генерального директора администрации начал борьбу с касиками, выступал за избирательные права женщин, провел решение, увеличивающие права муниципалитетов. Затем, став к концу 1925 года министром финансов, провел меры по контролю за уплату земельного налога, что вызвало недовольство владельцев латифундий, ранее от него всячески уходивших, но привело к тому, что за несколько лет налогов в бюджет собрали на треть больше. Существенно увеличились расходы на транспортную инфраструктуру, на образование. Создав нефтяную государственную монополию, он вступил в конфликт с президентом американской компании «Шелл» Детердингом, который стал угрожать бойкотом Испании. В ответ Кальво Сотело заключил договор о поставках

¹ На тот момент социалистов в полиции уже было много. Коммунистическая партия еще была слаба, а анархисты не желали служить в полиции даже там, где были сильны, в Барселоне и Валенсии.

нефти из СССР. Основание государственного Внешнеторгового банка также повышало роль государства в торговле с другими странами. Все эти меры не содержат в себе ничего специфически монархического и уж тем менее фашистского. Парламент был убран именно потому, что находился в руках групп влияния, купивших большинству депутатов места, а потому препятствовал развитию страны. Кальво Сотело был противником финансовой олигархии, сторонником прогрессивного налога на ренту, затрагивавшего в то время прежде всего латифундистов. Консерватизм такого рода никак не назовешь служащим интересам сил «старого порядка» и полуфеодалных отношений. Основные враги были слева, но противостоят им еще пытались посредством реформ.

Все экономические успехи диктатуры были перечеркнуты начавшимся мировым экономическим кризисом. Примо де Ривера утратил власть и вскоре умер в Париже. После отъезда короля¹ и установления республики Кальво Сотело был вынужден эмигрировать, поскольку ему грозили не просто судом, но чрезвычайным судом из членов парламента. Он отвечал, что как юрист и гражданин готов предстать перед нормальным судом, а не перед «чрезвычайкой». Сводя счеты, его осудили заочно на 12 лет по явно надуманному поводу. На диапазон политических и экономических воззрений этого монархиста указывает то, что, находясь в эмиграции, он одновременно раздумывал, как применить в Испании во время мирового кризиса меры и корпоративного государства Муссолини, и «Нового курса» Рузвельта. Он вернулся в Испанию после следующих выборов в 1934 году, стал одним из лидеров объединения правых (CEDA – «Испанская конфедерация независимых правых»). С небольшой группой фалангистов в кортесах он встречался, но их разделяло уже то, что Кальво Сотело оставался монархистом, а сын генерала, Хосе Антонио Примо де Ривера создал антимонархическое движение, более того – движение революционное, желающее опрокинуть все прежние политические элиты. Небольшую финансовую помощь фалангистам выделяли в прагматических целях: условием было то, что прекратятся публичные нападки на монархистов.

Вопрос о том, как Кальво Сотело повел бы себя после мятежа, остается без ответа. Скорее всего, поддержал бы, но не согласился бы с последующей диктатурой Франко. Так, близкий по идеям к Кальво Сотело соруководитель CEDA Х.-М. Хиль Роблес не случайно оказался после гражданской войны сначала в эмиграции, а по возвращении в страну – в оппозиции франкистскому режиму, начав движение консервативных монархистов в сторону христианской демократии. Оба они подчеркивали, что консерватизм есть реформистское социальное движение. Эта возможность существовала до гражданской войны, но жесткое противостояние с левыми тогда целиком закрывало подобный путь развития.

Историю возникновения испанского фашизма невозможно понять без рассмотрения периода существования II Республики с 1931 года и с начала до мятежа 17 июля 1936 года, а затем до поражения ее 1 апреля 1939-го. Даже самый краткий обзор потребовал бы пересказа множества событий, описанных в книгах, статьях и диссертациях. Споры велись и ведутся донныне, а они еще дальше увели бы от темы. По существу, гражданская война началась вместе с провозглашением республики – уже с мая 1931 года начались выстрелы и массовые поджоги церквей. Один правительственный кризис следовал за другим, были и восстания рабочих, и попытки военного мятежа генерала Санхурхо, и террор, в котором участвовали как левые, так и правые. Когда правительство после выборов 1933 года было в руках правых, оно прибегало к насилию, но хотя бы действовало в согласии с законом. После победы левых на выборах в феврале 1936 года заключенные ранее левые, включая осужденных за террористические акты, были амнистированы, зато начались аресты правых – лидера фалангистов Х.А. Примо де Ривера заключили в тюрьму еще до выступления военных.

¹ Формально Альфонс XIII не отрекся, но покинул страну.

Политика Народного фронта была непрерывным подстрекательством к мятежу. Как оценить массовое убийство священников, ложно обвиненных в том, что они раздавали детям пролетариев отравленные конфеты? Число подожженных церковью исчислялось сотнями, было убито 6500 священников и монахов. В католической стране, где к выступлению уже были готовы и даже начали с лета 1934 года готовиться к боям ополченцы из карлистов, (упомянутые выше *requetes*), это выглядело именно как провокация, за которой неизбежное выступление «реакционеров» мечтали подавить «вооруженным народом». Правительство, состоявшее в основном из левых либералов и социалистов, считало, что оно уже контролирует полицию и армию, расставив на командные посты верных левым генералов. Действительно, после мятежа почти все военно-морские силы и авиация остались верны республике, равно как и часть пехотных войск. Но они явно недооценивали как угрозу все более радикализовавшихся левых – коммунистов, анархистов, немалой части социалистов¹, так и все возраставшее сопротивление со стороны правых, понимавших, что отступить им уже некуда. Их поддерживала значительная часть населения, видевшего, к чему ведет власть «красных», не скрывавших своего намерения перейти к социалистической революции. Когда уже во время войны командовавший наступающими на Мадрид войсками генерал Мола говорил о «пятой колонне», он имел на то основания – значительная часть населения столицы с нетерпением ждала мятежников и встретила их радостными толпами весной 1939 года. Страна была разделена на две примерно равные по численности части, взаимные претензии уже переросли в ненависть. Гражданские войны со времен Фукидида не случайно относят к самым жестоким и непримиримым.

В этой пожароопасной атмосфере фашизм не мог не возникнуть как движение, мыслившее себя, если можно употребить это выражение, как «встречный пал»: ответить огнем на пожар слева. Партия «Испанская фаланга» была основана в октябре 1933 года группой студентов Мадридского университета и просуществовала полгода как небольшая, хотя довольно быстро растущая организация интеллектуалов, которую еще трудно назвать фашистской, – из нее за пропаганду фашизма даже исключили пару человек. Существует гимн тех, кто изначально входил в «Фалангу» и называл ее подлинной (*Falange autentica*): “Ni marxismo, ni fascismo”. Главу партии, Хосе Антонио Примо де Ривера, унаследовавшего от своего отца-диктатора не только титул маркиза, но и манеры аристократа, вообще трудно представить в роли вождя массовой организации. Сохранившиеся записи его выступлений показывают прекрасного оратора, но пригодного убедительно говорить негромким голосом, скорее, в университетской аудитории или с парламентской трибуны, а не на площади. На это ему указывали два вождя примкнувших к «Фаланге» в феврале 1934 года организаций. Оба они, Ледесма Рамос и Онесимо Редондо, тоже были хорошо образованными молодыми людьми, но начинали с деятельности в профсоюзах беднейших работников, вроде сборщиков сахарной свеклы. Антикапиталистические требования звучали в их устах куда убедительнее, именно они сделали преобразованную партию (*Falange Española de las JONS*) фашистской: присоединенная организация «Хунты национал-синдикалистского наступления» была революционной, вела агитацию на предприятиях и в полях, в кварталах, куда не проникали мадридские

¹ Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) сохраняла в своей программе тезисы о вооруженной социалистической революции и диктатуре пролетариата. Правое крыло партии и «центристы», возглавляемые Х. Бестейро и И. Прието, уже тогда пытались перейти на путь реформизма, считая себя наследниками основателя партии и ее долголетнего руководителя П. Иглесиаса, для которого на первом месте всегда стояло улучшение участи рабочих, а не прожектерство. Но в начале 1930-х годов в партии доминировала левая фракция, возглавляемая Ф. Ларго Кабальеро, а по ходу войны даже «центристам», вроде последнего премьер-министра республики Х. Негрина, приходилось считаться с коммунистами и советниками из СССР. От марксистской догматики эта партия не без труда избавилась, когда ее руководство находилось в эмиграции.

высокопобые, вела за собой немалое число рабочих и крестьян, становившихся в том числе вооруженными боевиками.

Это сказалось на идеологии фалангизма, которая была столь же антикапиталистической, сколь и антимарксистской, включала в себя ряд требований, свойственных левым партиям, но обосновывались эти требования националистически: солидарности всех испанцев независимо от социального происхождения препятствуют как капиталисты, так и марксисты, разжигающие классовую войну. Идеологом этого национал-синдикализма был Ледесма Рамос, который к 1936 году даже вышел из партии, поскольку она была недостаточно революционной. Программа фалангистов в области экономики во многом копирует идеи Дж. Боттаи¹, главного теоретика корпоративного государства в Италии, с тем отличием, что огромное внимание уделяется созданию кооперативов, в которых видится идеальная форма хозяйственной деятельности. Ликвидация латифундий, на место которых приходят кооперативы крестьян, – для Испании подобная программа была революционной. Частная собственность не отменяется, но вводится целый набор государственных ограничений, вплоть до национализации основных банков. За такой национализацией некоторые комментаторы той эпохи видели слабо прикрытый испанский шовинизм в его борьбе с сепаратизмом – основные банки контролировались басками, поддерживавшими сепаратизм. Никакого антисемитизма у фалангистов не было, да и расизм был им чужд. Слово «раса» в Испании вообще употреблялось без связи с биологией и даже без некой отсылки к аристократии. «День расы» отмечался в Испании 12 октября, под другим названием он был Día de Hispanidad, а с 1981 года, в политкорректную эпоху, празднуется под именем «День испанской нации»; это празднование дня открытия Америки, единства испанцев с народами бывших колоний, некоего духовного с ними братства. Понятно, что с расизмом такое толкование «расы» не имеет ничего общего. Единство Испании, преодоление любого сепаратизма, возвращение Гибралтара, подавление «красных», замена правящего класса на подлинно народную элиту – таковы, вкратце, основные положения программы. Х.А. Примо де Ривера часто повторял, что Испанию разрывают конфликты, порожденные сепаратизмом, партийной пропагандой и классовой борьбой. У всех этих конфликтов имеются исторические предпосылки, но именно «Фаланга» способна предложить их разрешение.

Фашистской партией ее делало прежде всего то, что национальная революция мыслится как рождающая в борьбе новую элиту, выдвигающую и создающую новый тип человека. И Примо де Ривера, и Ледесма Рамос учились у Ортеги философии и испытывали влияние идеи подлинной элиты, которая необходима в условиях «восстания масс». Ледесма Рамос, философ по образованию, учился и в Германии, занимался истолкованием Хайдеггера, из которого вынес не попытки создать новую онтологию, но учение об экзистенциальном выборе, преобразующем ведущего неподлинное существование человека. Хотя фалангисты отличались от итальянских фашистов и тем более национал-социалистов своим подчеркнутым почтением к церкви, трудно назвать христианским учение об элите, отличающейся от ведомой массы тем, что она пересоздает мир, творя себя в рискованных деяниях перед лицом смерти. В той или иной степени, тексты создателей фалангизма пронизаны героическим пессимизмом, идеей воли к власти как «преодоления себя» (*Selbstüberwindung*) Ницше и экзистенциализма – почитали они не только Ортегу, но

¹ Две лекции Боттаи февраля 1934 года были переведены на русский, их легко отыскать в Интернете. В них он, в частности, обращает внимание на отличия фашистского корпоративизма от средневековых его версий, а тем самым и от восходящего к ним католического социального учения. Боттаи подчеркивает связь современных синдикатов с высокотехнологичной промышленностью, ростом производительности труда. Фашизм является не консервативной, а революционной силой. В 1926 году Боттаи назвал фашизм «перманентной революцией».

и Унамуну. След этого мироощущения заметен в гимне фалангистов «Лицом к солнцу», написанном Примо де Риверой¹ в 1935 году.

Трудно сказать, как развивалась бы эта идеология, переживи ее создатели гражданскую войну. Только Примо де Ривера и Ледесма Рамос были арестованы и расстреляны, а Онесимо Редондо в самом начале мятежа военных собрал сотню единомышленников и, командуя ими, погиб в самом начале боев. После победы в гражданской войне Франко способствовал созданию настоящего культа Хосе Антонио Примо де Риверы, сестра последнего Пилар долгие годы руководила фалангистским женским движением (*Sección femenina*), но все то, что составляло особенности раннего и фашистского в собственном смысле слова периода «Фаланги» было отброшено, а со временем и позабыто. Ко многим революционерам подходят слова, сказанные о Бакунине, что на первый день революции такой человек просто клад, а уже на второй его следует повесить. С иными фалангистами это и произошло – даже если их причислять к деятелям контрреволюции, то последние тоже «пожирают своих детей». Связано это с тем, как шла гражданская война, какие силы в ней участвовали на стороне мятежников, кто получил власть в результате победы над республиканцами.

На момент начала выступления военных силы мятежников были не слишком велики: флот остался в основном верен правительству, а по воздуху из Африки с помощью немецкой транспортной авиации на юг Испании было переброшено примерно 20 тыс. солдат и офицеров. Но это были части, обстрелянные в войне – состоящие по преимуществу из марокканцев (*regulares*), и Испанский Легион под командованием Франко. Так как готовивший и начинавший мятеж генерал Х. Санхурхо погиб в авиакатастрофе, то в конце сентября 1936 года генералы, понимавшие необходимость единого командования, предоставили полномочия Франко как руководителю наиболее боеспособных подразделений. Сухопутные войска отчасти остались республиканскими, частью разбежались, но в большинстве своем избрали сторону националистов (именно так называли себя мятежники). Однако для завоевания страны, в которой половина населения поддерживала республику и быстро начала формировать новую сухопутную армию, к которой вскоре добавились интербригады, этого было мало. Поддержку Франко сразу получил от карлистов – *Requetés* вступили в бой и относились к лучшим частям мятежников. Из политических партий только Фаланга целиком выступила на стороне националистов, выражая интересы не религиозных крестьян Наварры, а городской буржуазии, чиновников, студентов. Чрезвычайно быстро она численно выросла примерно в пять раз. Ею также были сформированы бригады добровольцев, а своей националистической пропагандой, имевшимися газетами (*"Arriba"* была важнейшей на тот момент) она играла значительную роль в войне. Ценна она была для военных и своей идеологической близостью помогавшим мятежу немецким специалистам и итальянским фашистам, пославшим в Испанию корпус из примерно из 70 тыс. солдат и офицеров². Рост числа членов партии вел к изменению ее социального состава: «Фаланга» становилась преимущественно партией городской буржуазии, поскольку других антикоммунистических партий уже не осталось. Монархистская *CEDA* была типичной парламентской партией с большим электоратом, немалыми финансовыми вливаниями испанской буржуазии, но не имела ни вооруженных отрядов, ни вождей, способных извести за собой. Переток монархической молодежи из *CEDA* в «Фалангу» начался еще до мятежа, а завершился он по ходу гражданской войны. Вливавшиеся в «Фалангу» массы чаще всего

¹ Первый куплет принадлежит поэту и раннему идеологу фалангизма Дионисио Ридруэхо.

² Состоявший не только из добровольцев (как звучало в пропаганде), но также из кадровой дивизии «Литторио»; участвовали в войне итальянские авиация и флот. Хотя одно из сражений в начале войны итальянцы под Гвадалахарой проиграли, роль их войск в победе националистов была немалой, особенно в первые полтора года войны, когда по своей численности войска мятежников серьезно уступали республиканским. На конец войны в 1939 году вся армия франкистов составляла 350 тысяч.

не разделяли революционные идеи и требования – им требовалось быстрее наведение закона и порядка. Буржуазной партией она стала именно во время гражданской войны, когда историческое ядро растворилось в сотне тысяч новых членов.

Уже то, что к единоначалию нужно было приводить не только армию, в которой были недолюбивавшие Франко генералы, но и отряды добровольцев разной политической окраски и уровня военной выучки, предполагало прекращение партизанщины и унификацию. Все поддерживающие мятеж силы ненавидели «красных», но требовался ответ на вопрос о том, ради какого будущего идет война. Армейские генералы и офицеры были чаще всего монархистами, поддерживающими династию, желавшими вернуть трон эмигрировавшему королю или его сыну («альфонсисты»), монархистами были и карлисты, но им требовались на троне потомки Карлоса Бурбона; фалангисты вообще отринули монархию, да еще выдвигали идеи, совершенно неприемлемые для большинства консервативных католиков, будь они военными, священниками или промышленниками. Хотя монархисты из умеренной партии CEDA поддержали военных, но ее руководство отрицательно относилось и к карлистам, и к фалангистам, и к единовластию Франко. Генерал нашел выход в объединении всех этих сил в одной партии, убрав из их руководства всех препятствующих догматиков той или иной идеи. Таковых было немало, поскольку «красные береты» (которые с XIX века носили карлисты) иной раз вступали не только в драки, но и в перестрелки с «синими беретами» – добровольцами из фалангистов. Убрать надо было прежде всего потенциальных конкурентов в борьбе за власть и откровенно вносящих раздор во время войны¹.

Эта операция была проделана в апреле 1937 года, когда Франко слил фалангистов с монархистами в партию с названием «Испанская традиционалистская фаланга союзов национал-синдикалистского наступления». Добавилось прилагательное «традиционалистская», чтобы включить в партию монархистов всех оттенков, но за сменой названия последовали довольно суровые меры по отношению к тем, кто продолжал отстаивать независимую точку зрения на то, какими должны быть партия и страна. Среди карлистов таковых было сравнительно немного, в «Фаланге» же произошел раскол. Меньшей части во главе с Мануэлем Эдильей, синдикалистом и выходцем из рабочих, это единение под руководством Франко решительно не нравилось – Эдилье был вынесен смертный приговор, затем замененный на пожизненную высылку из страны. Несколько фалангистов расстреляли, оставшиеся либо вышли из партии, либо вели в ней полуподпольное существование, вспоминая о «Falange auténtica». В этой среде впоследствии появятся враждебные режиму синдикалистские организации. Большая часть разросшейся партии в условиях войны не желала выступать против генерала, а у оказавшихся во главе партии лиц открывались и карьерные возможности.

Итогом «крестового похода» было установление режима, который имел все черты фашистского. Единолично правил каудильо, любое публичное появление его начиналось с ритуального возгласа: «Франко, Франко, Франко!», введенного во время войны генералом Мильяном Астрадаем. От него зависели не только все существенные назначения на посты, государственные решения, назначения военных, но и смертные приговоры. Это он определил, что наряду с коммунистами и прочими марксистами нужно преследовать масонов. Имелась партия, прямо утверждавшая свое родство с правящими в Италии и в Германии. На противников режима обрушился террор – иные статьи, по которым стали арестовывать и карать по принятым еще в феврале 1939 года законам, были настолько нелепыми², что

¹ Именно такой раздор они видели у врага: социалисты боролись с либералами, коммунисты с социалистами, сепаратисты с правительством в Мадриде, анархисты вообще против всех и т.д.

² Скажем, подлежали санкциям те испанцы 18–40 лет, которые с начала мятежа 1936 года за два месяца не вернулись в страну и не вступили в ряды националистов.

приносили вред самому режиму и были через пару лет отменены. Продолжали выносить смертные приговоры бывшим противникам, из милости заменяя их на срок 30 лет тюремного заключения даже тем, кто никогда не держал оружия в руках и не отличился в преследовании мятежников, будь то журналисты «марксистских» изданий, либо интеллектуалы, вроде социалиста-профессора Х. Бесетейро или поэта М. Эрнандеса.

Наконец, как любили повторять советские учебники, была восстановлена власть помещиков и капиталистов, поддерживавших установление этого режима. Правда, республика сохраняла частную собственность и рыночные отношения, ее поначалу поддерживала значительная часть буржуазии, а в правительство входили либералы, даже руководившие им первые полтора года гражданской войны. Каталонские сепаратисты принадлежали к буржуа, а не к пролетариям – их франкисты преследовали не меньше, чем коммунистов и анархистов. Восстановлен был необходимый для хозяйственной деятельности порядок. В стране с подорванной войной экономикой, инфляцией, нехваткой продуктов питания требовалось использовать все имеющиеся капиталы для налаживания производства – буржуа сохраняли и преумножали собственность, но было необходимым и жесткое государственное регулирование. За образец взяли адаптированную модель корпоративного государства.

Послевоенный террор был продолжением того взаимного истребления, которое длилось почти четыре года. В этом отличились обе стороны, каждая из которых обвиняла другую, приводя фантастические цифры убитых противниками. По этому поводу донныне ведутся споры, но историки в целом согласны в том, что националисты казнили примерно на треть больше, поскольку они с боем занимали территории, которые до этого были под контролем республиканцев. Террор в разгар гражданской войны понятен, но его трудно назвать «коммунистическим» у одних или «фашистским» у других. Есть немалое число свидетельств того, что военные трибуналы националистов, проводимые фалангистами, были куда снисходительнее, чем аналогичные трибуналы карлистов и военных. Первые были все же более образованными людьми, дифференцировали политических противников, тогда как карлисты считали всех не разделяющих их веру в Бога и короля чуть ли не исчадиями ада – все эти *afrancesados*, будь они социалистами, коммунистами или либералами заслуживали казни. Самыми жестокими были приговоры перебравшихся из Африки военных, причем первыми они расстреливали генералов и офицеров, сохранявших верность республике, – в их число входил, например, командир эскадрильи в Марокко, двоюродный брат Франко, расстрелянный в первые дни мятежа. Ненавидевшие любых республиканцев офицеры командовали либо марокканцами из *regulares*, либо Легионом, в котором было множество иностранцев (чаще всего латиноамериканцев), которым вообще не было дела до испанской политики. Они следовали понятной им максиме «лучший враг – мертвый враг» и приговорили к расстрелу множество вообще не имевших отношения к политике людей. Состояние безвластия вело и к сведению личных счетов. Вопреки всему тому, что писалось и пишется у нас о гибели Гарсия Лорки, этот замечательный поэт был аполитичен, дружил с Хосе Антонио Примо де Ривера и обедал с ним раз в неделю, приехал на малую родину накануне мятежа и оказался беззащитен по отношению к смертельно враждовавшему с его семьей клану, члены которого выгнали его из дома друга, поэта Луиса Росалеса, члена «Фаланги» и брата главы фалангистов в Гранаде, и убили, оправдавшись потом перед новой властью тем, что казнили социалиста.

Террор обосновывался слева доктриной классовой борьбы, а справа и мятеж, и террор освящались как «крестовый поход». Богословы начинали свои устные и печатные выступления со слов о недопустимости мятежа против легитимной власти, но затем выдвигали обвинения республике как власти безбожной и незаконной и делали вывод о правомерности восстания и самых суровых карах. Объединив свои силы под рукой генерала Франко, правые хотя бы избежали взаимной резни, которая захватила левых. Своего

апогея она достигла, когда коммунисты стали арестовывать и расстреливать сначала «троцкистов»¹, а затем и анархистов в Барселоне.

Однако стоит различать террор во время гражданской войны, когда судили военные трибуналы, а многих расстреливали вообще бессудно, от государственного правосудия. Каким бы суровым оно ни было, после захвата власти шли упорядоченные процессы с адвокатами и кодифицированным рассмотрением дел. Смертных приговоров было не так уж много. Имеются проверенные данные о приговорах с 1939 по 1950 год. Всего было казнено 22 641 человек, причем 15 тыс. из них приходится на 1939–1940 годы, когда судили ожесточенно, так сказать, по свежим следам, а затем число приговоренных падает до 91 в 1949 году и 57 в 1950-м. Начиная же с 1951 года таковых оказывается 5–7 человек ежегодно до 1960 года, а потом были вообще единичные случаи либо террористов, либо по старым делам отличившихся в терроре левых в годы гражданской войны. К террору можно отнести тюремное заключение куда более значительного числа тех, кто был в республиканской армии и подозреваемых в антиправительственной деятельности – через тюрьмы и лагеря прошло до 300 тыс. человек, но подавляющее их большинство были выпущены по амнистии еще в 1940 году – при нехватке рабочей силы держать простых крестьян и рабочих в заключении было бессмысленно, выпускали «под наблюдение» местной полиции. Нам есть с чем сравнить подобный террор под конец гражданской войны и после нее.

Конечно, и в 1940-х, и даже в 1950-х годах политическая полиция иной раз арестовывала по всякому поводу; цензура, как политическая, так и церковная, была свирепой до начала 1960-х; опорой режима оставались армия и полиция. В конце 1940-х для этого имелись основания, поскольку после поражения Германии и освобождения Франции через Пиренеи начался поток испанских эмигрантов-партизан, отличившихся во французском Сопротивлении и мечтавших о вооруженном свержении франкистов. У них оставалось немалое число сторонников в Испании, была и иностранная поддержка против находящегося в международной изоляции режима, поддерживавшего страны «Оси». Были вооруженные столкновения, теракты, налеты, но к 1950 году полиция с ними справилась – не случайно число смертных приговоров с этого времени падает в десять раз.

Все смертные приговоры утверждал Франко. Каудильо не был совершенно безжалостен, но помилования по политическим приговорам были крайне редки: он демонстрировал то, что доверяет правосудию и в него не вмешивается. Он вообще напоминал не столько вождя фашистского режима, сколько военного бюрократа. Лишенный личной харизмы деятель, конечно, поддерживал свой официальный культ да и сам видел в себе спасителя отечества, но был всегда немногословен, не строил из себя ни пророка, ни художника, ни интеллектуала. От генералов, с которыми он начинал путч, Франко все же отличался некоторой начитанностью и даже пробовал писать прозу, но сам он читал, помимо докладов и прочих административных бумаг, исключительно развлекательную литературу, регулярно посещал церковь, а свободное время проводил за охотой и рыбалкой, позже за любимой игрой в гольф. Так как никакой внятной идеологии, помимо убежденности в том,

¹ Ставлю кавычки, поскольку Рабочая партия марксистского объединения (РОУМ) троцкистской не была. Она объединяла всех марксистов, не подчиняющихся диктату Коминтерна, к каковым относились далеко не только троцкисты, но также считавшие себя сторонниками «правой оппозиции» («бухаринцы»), левые социалисты, образовавшие так называемое Лондонское бюро (которое в Испании представлял Вилли Брандт). На борьбу с фашизмом прибыло немало иностранцев, одним из них был Дж. Оруэлл. Хотя руководитель партии А. Нин поддерживал личные отношения с Троцким, последний постоянно критиковал РОУМ. Несколько тысяч членов этой партии были расстреляны во время чистки от неугодных сталинцам коммунистов. В Каталонии и Валенсии промосковская КПИ имела куда меньшее число членов, чем РОУМ. Правящие социалисты дали согласие на эту операцию уже по той причине, что готовился перенос правительства в Барселону, а господство там анархистов было нежелательным.

что Испании нужны католическая вера и монархия, у него не было, он прагматично менял позиции, советников и состав правительства. Во время гражданской войны он проявлял реализм и осторожность, за которую некоторые торопливые сподвижники называли его кунктатором. Однако, постепенно изматывая республиканцев, он шел к победе: еще летом 1938 года республиканцы наступали на реке Эбро, а к февралю 1939-го у них не осталось сил и исчезли все надежды на победу. Авантюризма хоть дуче, хоть фюрера он был на-чисто лишен.

Национальные интересы Испании он отстаивал столь же практично: встречался с Гитлером в октябре 1940 года, обсуждая вступление Испании в войну, отправил в СССР «Голубую дивизию» в 1941-м, но не разрывал отношений с Англией и США, а в 1943-м отозвал эту дивизию и стал сдвигаться в сторону англосаксов. Все аргументы в пользу вступления в войну на стороне Германии уже на 1940 год. перевешивал простой аргумент: Испания критически зависела от подвоза продовольствия из Канады и Аргентины, а при морском владычестве британцев он остался бы не только без Канарских островов, но и с голодом в стране. Поэтому он выдвигал очевидно неприемлемые для немцев условия вступления в войну.

Франко не обладал ни большими познаниями, ни пресловутой интуицией вождя, ни артистизмом оратора, но ему доставало практичной хватки, четкого понимания возможных угроз его личной власти. На него было совершено или готовилось с 1939 по 1950 год около 50 покушений, причем не все они были со стороны республиканцев всех мастей, но и со стороны фалангистов и монархистов. Причем одно готовилось монархистами во взаимодействии с британским посольством (чтобы Испания не вступила в войну с Англией), а другое фалангистами, связанными с немецким посольством (чтобы она в эту войну вступила). Конфликт между традиционалистами и фалангистами затрагивал и внешнюю политику.

Несмотря на соединение в одной правящей партии монархистов и фашистов, существовала не только подковерная борьба за места в возникающей иерархии. Главным сторонником всестороннего союза с Гитлером и Муссолини был свояк каудильо Р. Серрано Суньер, который был сначала министром пропаганды, контролирующим всю печать, а затем министром иностранных дел. Его ненавидели не только все монархисты, но и представители «Falange autentica», видевшие в нем предателя их дела и устроившие на него покушение. Министром обороны был генерал Х.Э. Варела, карлист, арестованный республиканским правительством еще в апреле 1936 года, освобожденный мятежниками и успешно провоевавший в гражданскую войну. Он не скрывал своей неприязни к нацистам и был настроен проанглийски. На него фалангисты совершили покушение в августе 1942 года. Конфликт между фалангистами и карлистами, персонифицированный как конфликт Серрано Суньера и Варелы, рисковал перейти в открытое вооруженное столкновение. Франко разрешил этот конфликт, убрав с высоких постов обоих, что имело для него к тому же прямую выгоду. Армию не следует доверять идейно нетерпимым людям, а дипломатию фанатикам идеологии; назначил он на эти посты менее политизированных «альфонсистов».

Столь же прагматичным был Франко, отправляя на Восточный фронт «Голубую дивизию». Формально он поддерживал Гитлера в войне, но отправились добровольцы, от которых он сам не прочь был избавиться, поскольку ему совсем не были нужны идейные и плохо управляемые фашисты. Кстати, отношение монархистов к отправке этой дивизии было отрицательным не только потому, что они склонялись к союзу с Англией. Как писал командовавший во время гражданской войны немалой частью авиации националистов, аристократ и монархист Х.А. Ансальдо, все сторонники традиционализма, будь они карлистами или альфонсистами, разделяли антикоммунистические воззрения и полагали, что в том случае, если бы в России с коммунизмом сталкивались христиане, они сами готовы были бы вступить в бой. Однако ситуация была очевидно иной. «Германия, режим которой столь отличался как от православного традиционализма, так и от коммунизма,

сражался не за восстановление христианской веры в России, но исключительно против всей нации, без различия политических доктрин, против всего народа, причем с единственной и самой неблагоприятной целью – захватить земли, богатства, промышленность и сельское хозяйство для процветания агрессора. В этих условиях традиционалисты не могли ни в какой форме рекомендовать соучастие в таких целях и еще менее в таких актах разбоя» [цит. по: 49, с. 198]. Если к итальянскому фашизму отношение этих кругов было более или менее нейтральным¹, то к национал-социализму исключительно негативным. Относились это не только к военным, но также к церковным иерархам, высшему чиновничеству, немалой части промышленников, исторически связанных с Британией, – идеи фашизма в эту среду практически не проникали.

Если с 1939 по 1942 год франкистский режим не только казался фашистским, но всячески сближался с Италией и Германией политически и идеологически, да и зависел от тех, кто помог в гражданской войне, то с 1943 года начинается отдаление. Дело не только в том, что страны «Оси» стали проигрывать войну, что уже самосохранение требовало наладить отношения с победителями. В сложившемся авторитарном государстве фашисты стали помехой. Они сыграли свою роль в подавлении «красных», но затем надобность в них отпала.

Дальнейшее развитие режима это подтверждает. За правящей партией остается роль воспитания (молодежная секция, женская секция), она дает возможность карьерного продвижения, но власть ей на самом деле никак не принадлежит. Это лишь один из рычагов или механизмов бюрократии – это стало очевидно не только для заполнивших ее карьеристов, но и для тех, кто становился на путь оппозиции режиму. С одной стороны, при министре образования Х. Руисе-Хименесе, монархисте, воевавшем с республиканцами, и фалангисте, ректоре Мадридского университета П. Лаине Энтральго² в 1951 году объявляется «политика открытости», которая – пусть пока еще неявно – нацелена на переход к христианской демократии. Даже соавтор гимна “*Cara al sol*”, в прошлом идейный фашист, вступивший добровольцем в «Голубую дивизию», Дионисио Ридруэхо вступает в прямой конфликт с франкизмом с этих позиций, а в консервативной эмиграции этот проект продвигается упомянутым выше Хиль-Роблесом. С другой стороны, воспользовавшиеся этой «открытостью» студенты Мадридского университета, «дети победителей» в гражданской войне, как их нередко называли, образуют в рамках единственно дозволенной молодежной организации кружки, которые ссылаются на синдикализм раннего фалангизма, а затем, после бурных политических выступлений в Мадридском университете в 1956 году, жестко подавленных полицией, переходят в ряды социалистов и коммунистов.

Ко второй половине 1950-х годов стало понятно, что даже остатки регулирования экономики в духе корпоративного государства препятствуют развитию. К власти приходит кабинет технократов, в котором многие посты заняли члены ордена “*Opus Dei*”. Либерализация рынков и приватизация, свободное движение капитала и рабочей силы, развитие ав-

¹ Исключая пару лет во время гражданской войны, когда были подозрения, что Муссолини желает посадить на испанский трон представителя Савойской династии, сына Амедея I, который пару лет побыл испанским королем в начале 1870-х годов.

² Видный историк медицины и философ, покинул пост ректора в 1956 году. Стоит заметить, что ранний фалангизм Хосе Антонио Примо де Ривера привлек немалое число интеллектуалов. Уже упомянутые Дионисио Ридруэхо и Луис Росалес были крупными поэтами, П. Лаин Энтральго и Х.Л. Арангурен – философами и историками науки и культуры, А. Товар – одним из лучших филологов-классиков, ставшим затем европейски известным специалистом по языкам индейцев. Он долгие годы был ректором старейшего Саламанкского университета, но в 1963 году был вынужден эмигрировать из-за политических разногласий с властями. Точно так же был изгнан из Мадридского университета за оппозиционные взгляды и покинул страну Арангурен. Оппозиция франкистскому режиму начиналась среди бывших фалангистов. Ее средоточием долгое время был издаваемый Ридруэхо журнал «Эскуриал».



томобилестроения и туризма – все это и многое другое обычно упоминается в связи с теми 15 последними годами франкизма, которые вывели Испанию в число промышленно развитых стран. Этот режим назвать фашистским уже невозможно. Элементы авторитарной диктатуры сохранялись, но сложилось индустриальное общество, в котором рабочий класс перестал быть подрывной силой, а буржуазии уже не были нужны ни аппарат военно-полицейского подавления, ни идеологический контроль партии, повторявшей мантры ушедшей эпохи. После смерти Франко эта история завершилась столь быстро и бескровно именно потому, что практически всем элитам этот режим не требовался, а оппозиционные партии, включая социалистов и коммунистов, уже не мечтали о революционном насилии, которое должно сделать мир лучше. Если брать консерваторов, то прежний традиционализм исчез: имеется монархия, но уже нет монархических партий, испанское прошлое помнят, но не зовут к нему вернуться. Из соединения ряда оппозиционных организаций, вроде тех же христианских демократов, и части франкистской элиты, руководимой бывшим министром М. Фрага Ирибарне, была создана партия Народный альянс, которая с 1989 года называется Народная партия – она подолгу бывала правящей, ныне является главной оппозиционной партией в Испании.

Франция

Самым сложным, запутанным и неприятным является случай Франции. Неприятным потому, что не только журналисты из либеральных СМИ, левые публицисты и пропагандисты, но также академические ученые Франции обычно квалифицируют монархическое движение “Action française” либо как фашистское, либо как коллаборационистское во время оккупации. Главу этого движения часто именуют ведущим идеологом маршала Петэна, который руководил находившимся в провинциальном городке Виши правительством, а на последнее возлагается ответственность за преступления, совершаемые не только немцами, но и сотрудничавшими с ними министрами, судьями и полицейскими. Эти пять лет представляют собой словно черное пятно в коллективной памяти французов – о них не любят вспоминать, а когда все же припоминают, то как бы отвергают их принадлежность французской истории. Вся вина лежит на германцах и на предателях, которые были осуждены сразу после войны.

Однако это вытесненное прошлое – воспользуемся метафорой психоаналитиков – довольно часто прорывается в сознание и вызывает истерическую реакцию. Если послевоенных голлистов и коммунистов можно было понять – их ловили, судили и казнили не столько немцы, сколько сами французы-коллаборационисты, – то совсем иная ситуация была у других политических сил. За поражение в войне должны были ответить левые либералы (радикалы) и социалисты, правящие партии конца III Республики. Они дружно переложили ответственность на престарелого маршала Петэна, который не командовал войсками и не занимал должность в правительстве (был послом в Испании). В его правительство вошли представители этих политических сил, их выразителем был Лаваль. После войны, когда развалилось краткосрочное коалиционное правительство во главе с де Голлем, IV Республикой руководили те же самые политические элиты. Кто станет вспоминать, что свою карьеру Ф. Миттеран начинал в правительстве Виши и был награжден высшим орденом (так называемой франциской). Наконец, после заката уже неоголлизма и коммунистов в 1990-х годах, к власти вернулись те же элиты. Президент Макрон еще в первый свой срок выразил их кредо: противостояние правых и левых закончилось, сегодня друг другу противостоят консерватизм и прогрессизм. Уже третье поколение учителей во французских школах преподает историю по политкорректным учебникам. Изложение всего прошлого Франции ныне напоминает советские пособия: движение от веков тьмы

и варварства шло к просветителям и революции, а затем продолжалась борьба между носителями света и тьмы¹. Понятно, где находятся в такой историографии все консерваторы, а уж такой несомненный враг республики, либерализма и социализма, каковым был Ш. Моррас, без сомнения выступает как враг рода человеческого. В этой телеологии признанный коллаборационистом руководитель "Action française" завершает ряд, начатый аристократами – роялистами, вернувшимися во Францию на штыках иностранных монархий антинаполеоновской коалиции. Все они осуждаются как противники прогресса разума и человечности. Поэтому стоит хотя бы вкратце вспомнить об истории французского консерватизма.

Французская революция кладет начало самому консерватизму как реакции на нее: консерватизм изначально противопоставляется стремлению революционным насилием преобразовать мир. Конечно, стремление к самосохранению присуще всему живому, а с тех пор, как существуют государства и религиозные культы, есть те, кто их защищает. В этом смысле консерваторами были и афиняне, осудившие Сократа, и старообрядцы, осуждавшие никониан, и Цицерон, подавлявший мятеж Катилины, и не желавшие «перестраиваться» вслед за Горбачевым коммунисты. Однако начавшаяся в 1789 году революция свергла не только существовавшую более тысячи лет монархию – династии Капетингов предшествовали Каролинги и Меровинги; она отменила католическую религию, смела сословия, цеха и гильдии, исходя из набора идей, высказанных в книгах, в Словаре Бейля и в Энциклопедии Дидро. Весь мир был словно перевернут с ног на голову: великие традиции и почтенные институты отменялись во имя абстракций. Конституции составлялись для защиты прав и свобод абстрактного индивида, некоего «общечеловека», коего, как писал в 1795 году один из первых контрреволюционеров Ж. де Местр, не существует в действительности². Если иностранные родоначальники консерватизма – Э. Бёрк в Англии, его переводчик Ф. Генц в Германии – были наследниками Просвещения, противопоставляли безумиям французской революции благоразумность английской, даже одобряя войну американцев за независимость, то ожесточенность французских роялистов требовала реставрации монархии, а в теории начиналась с пересмотра не только французского Просвещения, но и предшествовавших ему философских доктрин Нового времени – Ж. де Местр посвящает сотню страниц уничтожению сенсуализма Дж. Локка, а Л.Г. де Бональд громит Ф. Бэкона. Консерватизм во Франции был исходно католическим, и слово «реакционер» во Франции, а затем по всей Европе, закрепилось поначалу именно за религиозно мотивированной критикой революции. Восстановлению трона предшествует восстановление алтаря.

Так как именно во Франции были разрушены сами основания «старого порядка», а политическая конъюнктура менялась быстрее, чем во всех других европейских странах, то и перемены в политических доктринах были самые скорые. Именно здесь к 1830-м годам оформляются и либеральные, и социалистические учения, а первоначальный роялистский консерватизм будет все больше уступать свое место более реалистичным позициям. Вернуться в идиллическую монархию времен даже не Людовика XVI, а Генриха IV, как того хотели представители «бесподобной палаты»³ в 1820 году, уже не представлялось

¹ Во Франции имеется большое число замечательных профессионалов-историков, выходят превосходные книги и журналы. Однако эта реальность сосуществует с другой: уже не только в средней школе, но и на гуманитарных факультетах университетов учащиеся сталкиваются с идеологическим «промыванием мозгов». Ведущее место в такой индоктринации занимает именно история.

² «Конституция 1795 года, точно так же, как появившиеся ранее, создана для человека. Однако в мире отнюдь нет *общечеловека*. В своей жизни мне довелось видеть Французов, Итальянцев, Русских и т.д.; я знаю также, благодаря Монтескье, что можно быть Персиянином; но касательно *общечеловека* я заявляю, что не встречал такового в своей жизни; если он и существует, то мне об этом неведомо» [16, с. 88].

³ Депутаты этой палаты времен Реставрации совсем не идеализировали монархию XVIII века и крайне негативно характеризовали абсолютизм Людовика XIV. Идеальное прошлое одни из них находили в сословной монархии Генриха IV, а иные вспоминали даже о правлении Людовика IX Святого в XIII столетии.

возможным. Приписываемые Талейрану слова «они ничего не забыли и ничему не научились» относятся все же далеко не ко всем монархистам.

После революции и наполеоновской империи монархия была реставрирована, но была уже конституционной, а в 1830 году со сменой династии к власти окончательно пришла буржуазия, ориентирующаяся на либеральную парламентскую систему. Слово «консерватизм» стало употребляться во Франции к 1820 году (издание Шатобриана называлось “Le conservateur”), хотя первой партией с этим наименованием в 1831 году сделались британские тори. Французские монархисты несколько десятилетий вели друг с другом борьбу – легитимисты, орлеанисты и бонапартисты находили общий язык лишь при столкновении с наследниками якобинцев, а впоследствии с социалистами, хотя в 1830-х годах ненависть к орлеанистам приводила даже к союзам легитимистов и социалистов на выборах¹. После смерти последнего претендента на трон из легитимистов, Генриха V, или графа де Шамбора из старшей линии Бурбонов, из Капетингов остались только орлеанисты.

Если у бонапартизма была своя линия развития, которая через буланжизм конца XIX века шла к голлизму, то с роялистами ситуация была довольно сложной. Исходно к легитимистам относились те, кто не принял французскую революцию во всех ее разновидностях и желал реставрации, тогда как орлеанисты были наследниками фейанов, а иной раз и жирондистов – похвальная история последних, принадлежащая перу Ламартина, была написана сторонником орлеанизма. А он во Франции всякий раз ассоциировался с властью банковского капитала, слоя буржуазных «патрициев», считающих себя либералами, цитирующих Константа и Гизо. Однако к концу XIX века в то время, как III Республика управлялась радикалами, направлялась масонскими ложами и притесняла церковь, происходит слияние легитимистов и орлеанистов в возглавляемом Ш. Моррасом движении “Action française” («Французское действие»). В это же время из разнородных социалистических и националистических групп появляются первые организации, которые ряд исследователей относят к «предфашистским»². Хотя реваншистские националистические лиги сыграли немалую роль в радикализации консерватизма, да и всей политической жизни, к фашизму они все же имели отдаленное отношение. Созданная Гамбеттой республиканская Лига патриотов при руководстве Деруледа сделалась антипарламентской, поддерживала Буланже, но стремилась к плебисцитарной президентской республике. В Лигу французского отечества, созданную во время «дела Дрейфуса» правыми интеллектуалами, входили писатели вроде Ф. Коппе и Ж. Верна, поэты (Эредиа, Мистраль), ученые и даже художники-импрессионисты (Ренуар, Дега). Как раз идеологическая невнятность и неработоспособность этой лиги привели к выходу из нее активных молодых националистов вроде Вожау и Пюжо, которые стали вместе с Ш. Моррасом создавать монархическую организацию. Ранее национализм был свойствен либералам и бонапартистам, с момента возникновения “Action française” монархисты делаются сторонниками «интегрального национализма».

После поражения во франко-прусской войне монархия чудом не была восстановлена, но вместе с укреплением республики этот проект стал казаться все более невероятным. Лишь после того, как эта республика оказалась потрясена рядом финансовых скандалов, на волне протестов против коррупции, возникают популистские движения протеста, начиная с возглавленного генералом Буланже. В художественной литературе Франция той поры живо представлена трехтомным романом А. Франса «Современная история». Оценки самого Франса менялись по ходу написания: в первом томе показана продажная и управляемая масонскими ложами французская провинция, в третьем томе сарказм обращен на националистов и антисемитов во время процесса Дрейфуса, и очевидны симпатии автора

¹ Сложные взаимоотношения монархистов той поры основательно разбираются в классическом исследовании Р. Ремона [45].

² Прежде всего это труды писавшего по-французски израильского историка З. Штернхела [см. 47, 48].

к социализму. В начале повествования ощутим след бесед с близким другом того времени, Ш. Моррасом, который уже склонялся к монархизму, а на заключительных страницах речь идет о демонстрации тех, кто уже именуется «национальными социалистами».

За столетие, прошедшее с революции, не только орлеанисты, но даже легитимисты научились произносить слова *renovatio* и *reformatio*, они стали приспосабливаться к реальности с новой экономикой и социальными институтами; даже католическая церковь после энциклик папы Льва XIII “*Aeterni Patris*” и “*Rerum Novarum*” пришла к частичному принятию мира науки и социальных отношений современного мира. Однако сама динамика капитализма породила и привела в движение силы, которые, казалось, уничтожали не только остатки сословий старого порядка, но все доставшиеся от традиции институты, религиозную веру, прежние нравственные заповеди. Причем речь шла не столько об огромном росте городского пролетариата – ему монархисты даже сочувствовали и пытались вернуть его к церковной вере. Во Франции раньше, чем в других европейских странах, врага стали видеть в деньгах и тех группах, которые заняты их приумножением. К старому недругу, гугенотам, добавились евреи и масоны, а так как масонские ложи действительно имели в то время немалое влияние на французскую политику, то иногда перечисление врагов начиналось именно с них. Антисемитизм во Франции становился все более заметным, чему способствовали сочинения Э. Дрюмона. Причем его агитация против сравнительно небольшой еврейской общины в этой стране принимала характер обвинения всему правящему классу – еврейский капитал выглядел лишь как бросающаяся в глаза, но мелкая деталь убивающей народ системы ограбления простого человека, а социализм превозносился, вплоть до одобрения Парижской Коммуны.

В отличие от окружавших Францию конституционных монархий, сохранявших многие институты прошлого, в III Республике свободная конкуренция партий при господстве денег протекала в условиях возникающего массового общества – первые книги по массовой психологии не случайно были написаны французами Г. Ле Боном и Г. Тардом. Уже тогда начались практические наработки политиков, нацеленные на организацию толп, выходящих на улицы с криками: «Долой воров!». Традиция городских волнений во Франции вообще долгая, причем задолго до 1789 года она могла быть направлена против верховной власти. Еще парижские буржуа времен католической лиги конца XVI века распевали песни с требованием сбросить короля. Среди тех, кто решил воспользоваться этой энергией масс, были левые наследники бланкистов и прудонистов, революционные синдикалисты, от имени которых писал Ж. Сорель, но были и правые – создатель революционной монархической партии Ш. Моррас и прямые предшественники французского фашизма XX века.

Я воздержусь от рассмотрения биографии Морраса и его политической доктрины, этим мне доводилось заниматься при написании большого послесловия к переводу его небольшой книги «Будущее интеллигенции» [22]. Коротко говоря, он отвергал всю «либеральную догматику» деклараций прав и свобод, выражающих лишь «подлинное безумие революционного индивидуализма, будь он политическим, социальным или моральным» [40, с. 51]. Человек рождается и воспитывается в семье, в городской или сельской общине, принадлежит народу и государству – в них он более или менее зависим и свободен, это связано со всей совокупностью исторических обстоятельств. Свой роялизм Моррас обосновывал не ссылками на «божественное право королей», а позитивистской социологией О. Конта.

Для темы данной статьи важным является расхождение между не единожды повторяемой Моррасом программой монархической партии, ее целями, и средствами их достижения. Проект желанного будущего практически во всех текстах Морраса не имеет никакого отношения не только к фашизму, но и к этатизму тех радикальных национали-



стов, которые влились в движение генерала Буланже, прямого наследника бонапартизма. В идеальной монархии восстанавливаются свободы муниципалитетов и провинций, гильдий и университетов, республиканский централизм отвергается как насилие над традиционными вольностями. «Авторитет вверху, свободы внизу – вот формула роялистских конституций» [41, с. 392]. У центра остаются полномочия по поддержанию порядка и по внешней безопасности, но небольшая профессиональная армия вовсе не предназначена для империалистической политики. Отменяется конкуренция политических партий в борьбе за депутатские места, поскольку она ведет лишь к власти денег, зато провинциальные и местные парламенты получают куда больше свободы распоряжаться средствами.

Можно сколько угодно повторять, что это «реакционная утопия», но это не отменяет того, что к фашистским проектам она явно не принадлежит и им почти во всем противоречит. Чтобы объяснить причисление “Action française” к фашистским движениям, Э. Нольте ввел понятие «революционная реакция» [43], указывая на то, что методы достижения этой утопии предлагались революционные и соответствующие практике фашистских партий. Действительно, Моррас предполагает переходный период диктатуры, которая должна снести практически весь республиканский режим. Отвергая власть денежной олигархии, он перечеркивает и прежние установки орлеанистов, которые занимали места в парламенте, охотно шли на компромиссы и с консервативными республиканцами, и с банкирами. «Интегральный национализм» противопоставляется республиканскому национализму, который в иных случаях был радикальным и доходящим до шовинизма, когда речь шла о колониальных захватах и стремлении к реваншу, отвоеванию Эльзаса и Лотарингии. Настоящее оценивается как заслуживающее полного отрицания, в нем нет ничего позитивного, а такую позицию можно оценить только как революционную. Моррас совсем не был диалектиком, предполагавшим некий синтез тезиса и антитезиса, великого прошлого французской монархии и послереволюционной Франции XIX века. Республика есть безусловное зло, с ним невозможно никакое перемирие. Хотя “Action française” пошло на компромисс с республиканцами во время Первой мировой войны, который отчасти соблюдался, пока у власти оставался консервативный президент (а потом и премьер-министр) Пуанкаре, но со второй половины 1920-х годов и до запрета на деятельность в 1936-м находится в непрестанном резком конфликте с республикой.

К фашистским Нольте отнес методы борьбы: акции “Camelots du Roi” – разносчиков газеты, которых у нас обозвали «королевскими молодчиками». То, что они освистывали политиков и профессоров, вступали в драки хоть с оппонентами из других партий, хоть с полицией, было заметно до начала войны, но в 1914 году они массово ушли добровольцами на фронт, а после войны куда заметнее были «молодчики» из левых, а потом и фашистов. То, что те же “Camelots du Roi” оказались заметными и популярными, когда мобилизовались для помощи парижанам во время сильнейшего наводнения 1910 года, обычно не принимается во внимание. Сравнение этих примерно 150 молодых людей с отрядами штурмовиков фашистских партий не выдерживает никакой критики. К террору они никогда не прибегали – покушения на ближайших сотрудников Морраса были со стороны левых. Читателями изданий “Action française”, ее избирателями были прежде всего провинциальные буржуа, верующие католики. То, что Моррас был агностиком и в конце концов был осужден вместе с партией католической церковью, серьезно ослабило позиции движения.

Уже такой состав партии и симпатизирующих ей кругов, делает диагноз Нольте, совершенно неправдоподобен. В нее влилось в начале XX века некоторое число радикальных националистов, разделявших ксенофобию Морраса и ненавидевших республику, но как раз они уже в 1920-х годах все чаще стали переходить в возникающие фашистские партии. Только не случайно лидеры их были выходцами из левых партий – прудонист Ж. Валуа покинул

Морраса в 1925 году, Ж. Дорио побывал членом Политбюро у коммунистов, М. Деа – заметным функционером и даже министром авиации у социалистов. В “Action française” вступали недовольные существующими порядками интеллектуалы, в том числе выдающиеся, вроде неотомиста Ж. Маритена, но они покидали движение, недовольные идейным диктатом Морраса. Были среди них и сделавшиеся в 1930-х годах фашистами, как Р. Бразийак, а потом и коллаборационистами. Чаще всего эти интеллектуалы-фашисты представляли собой ненавистный Моррасу тип, относимый им к романтизму, понимаемому как разнуздание хаоса сначала в собственной душе, а затем в социуме¹. Из партии Морраса они быстро уходили в том числе и потому, что у них не было карьерных шансов. И партия, и сам Моррас не меняли основные установки монархического движения, даже когда от него отвернулся орлеанистский претендент на престол.

Основанием для обвинений в коллаборационизме и фашизме остается тогда деятельность Морраса с июня 1940 по конец 1944 года в период, когда он целиком и полностью поддерживал маршала Петэна. Мне нет нужды детально описывать и анализировать ни политику Петэна, ни публицистику Морраса этих лет, поскольку эта задача с блеском выполнена отечественным исследователем В.Э. Молодяковым, который, будучи известным специалистом по данной теме, сумел «поднять» первоисточники, проанализировать их и сделать доступным для российского читателя огромный материал. Речь идет о трех томах, то есть почти тысяче страниц, посвященных Шарлю Моррасу и “Action française” в противостоянии с Германией, идет ли речь о временах кайзера Вильгельма, Веймарской республики или нацистского режима Гитлера [19–21]. Центральной темой всего исследования является непрестанная враждебность Морраса и его движения к Германии и германофилам во Франции.

То, что Моррас был националистом и ксенофобом, не вызывает сомнений; расистом он не был, но совершенно непримиримым было его отношение к «варварам». Обожещаемая им родная страна («богиня Франция») представала как наследница единственной и неповторимой античной цивилизации, Эллады и Рима. Если по поводу раннего христианства он высказывался довольно сурово, то католическая церковь приветствовалась как наследница Рима – она сумела дать четкие формы иррациональной профетической религии, а в эстетике Моррас был убежденным классицистом. Варваров он находил и внутри страны, но характерны его оценки европейских стран. Если латинские страны признаются родственными, им присущ, как повторял Моррас, «эллинско-латинский дух», то англичане уже предстают как разбогатевшие варвары, нагло навязывающие французам со времен Вольтера свои институты, вроде парламента, действующие посредством подкупа политиков и журналистов. Так как они были союзниками по Антанте, им иной раз достаются скупые похвалы, но *bête-noire* всей его публицистики являются немцы. Он иногда делает оговорки, что некоторые писатели (Гёте) и композиторы недурны, но лишь потому, что они слегка «офранцузились», но страна и народ в целом предстают как извечные враги. Он даже заявлял, что противником немцев он стал в двухлетнем возрасте, во время франко-прусской войны. Как заметил в самом

¹ Об этом человеческом типе пишут то скучные разоблачения «лавочников», «мещан во дворянстве», то восхищенные биографии авантюристов, принявших в качестве максимы ницшеанское «жить рискованно». Насколько я помню, в «Степном волке» Г. Гессе написал, что никакого противоречия здесь нет. Жизненная сила слоя конкурирующих друг с другом бюргеров вбрасывает в общество множество молодых аутсайдеров, которым недоступны или скучны обычные карьерные пути за конторкой или в индивидуальном предпринимательстве – они могут сделаться литераторами и художниками, могут проникать в политические партии, привнося в них неумную жажду возвышения. Примером могут служить активисты революционных партий той эпохи, в том числе фашистские лидеры и их ближайшие сподвижники во всех странах. Дриё Ла Рошель, первый видный французский интеллектуал, объявивший себя фашистом, писал: «Жить сильнее и быстрее – вот что сегодня называется быть фашистом».

начале своей трилогии В.Э. Молодяков, задним числом Моррас «преувеличивал давность своей германофобии, но в ее стойкости и принципиальности не приходится сомневаться» [19, с. 21]. Однако во Франции хватало шовинистов среди республиканцев, а в Германии видели врага почти все французы, включая таких давних противников Морраса, как Клемансо, военный министр во время войны, желавший сразу после нее смерти от голода миллионам немцев. В ту неполицорректную эпоху политики позволяли себе и такие публичные заявления. Особенностью германофобии Морраса были достаточно спорные утверждения относительно немецкого романтизма и протестантизма, которые порождают разрушительные политические идеи и доктрины.

История того, как происходило развитие "Action française", какую роль в обширной публицистике Морраса играла оппозиция Франция – Германия, такова тематика упомянутых книг В.Э. Молодякова. Чрезвычайно интересны и небольшие отступления – характеристики воззрений таких сподвижников Морраса, как историк Ж. Бенвиль и философ А. Массис, которые были незаурядными аналитиками и публицистами. Отношение их к гитлеровской Германии хорошо передают приводимые во втором томе слова Бенвиля, сказанные вскоре после прихода нацистов к власти: «Гитлеровская Германия посылает в мир людей, которые столь же чужды нам, как землянам – марсиане из романа Уэллса» [20, с. 15]. Моррас и его партия изначально отрицали то, что составляет сущность нацизма, – пангерманизм и расизм. Даже итальянский фашизм отвергался как этатизм, как социализм, избавившийся от демократии, в нацизме видели опасного врага. На протяжении 1930-х годов Моррас постоянно писал о немецкой угрозе, о необходимости вооружать армию. Однако совместная с немцами и итальянцами поддержка «белых» в Испании способствовала тому, что некоторые сподвижники, вроде литератора и киноcritика Бразийака, стали переходить из «Французского действия» в ряды фашистов. К 1938–1939 годам позиции "Action française" не изменились принципиально, однако вступление в войну с Германией ради чуждых Франции интересов да еще с перспективой сокрушительного поражения, привело к тому, что Моррас оказался в рядах тех, кого именовали «пацифистами» и «пораженцами». На деле он просто хорошо понимал, что Франция совершенно не готова к войне. В.Э. Молодяков приводит четкий ответ Морраса на эти обвинения: «Первое. Не надо начинать войну. Второе. Если, вопреки нашим советам, война будет навязана нам извне или вспыхнет по вине правительства, будем воевать хорошо, в полную силу. Выиграем ее. Чтобы выиграть: Вооружаться! Вооружаться! Вооружаться!» [20, с. 232]. В этом его позиция отличалась от тех левых политиков, которые повторяли, что не хотят «умирать за Данциг», но не желали ни увеличить срок службы в армии с одного года до двух, ни увеличивать военный бюджет. С начала войны в сентябре 1939 года позиции "Action française" становятся ультрапатриотическими: «Все для победы!». Даже после прорыва немцев в мае 1940 года и подхода танков к Дюнкерку Моррас продолжал писать о необходимости сражаться до конца. Только через две недели немецкие войска вошли в Париж, было подписано перемирие, а правительство возглавил маршал Ф. Петэн.

Дальнейшая история освещается чаще всего под определенным идеологически заданным углом зрения: де Голль улетел в Лондон, оттуда призвал к продолжению вооруженной борьбы, сопротивлению оккупантам, а избравших Петэна и подписавших перемирие объявил предателями. Логика того, кто сделал ставку на победу в войне антигитлеровских сил, понятна; так как он вместе с ними оказался в числе победителей, что позволило Франции вновь войти в число мировых держав и сохранить достоинство страны, борющейся с нацизмом. Только летом 1940 года армии уже не существовало, французы были в панике, существовал риск того, что немцы, столкнувшись с продолжением военных действий, будут соответствующим образом карать по меньшей мере все мужское население страны. За перемирие выступало подавляющее большинство. Задним числом и голлисты стали

признавать неизбежность и даже полезность для Франции перемирия – это относится к Р. Арону, который в 1940 году был вместе с де Голлем в Лондоне, но на склоне лет он писал об этом в своих мемуарах, а в долгом интервью, составившем книгу «Пристрастный зритель», так говорил о той ситуации и об исторической мифологии: «Зачем отрицать действительное положение вещей? Французы это не сорок или пятьдесят миллионов героев. Вы не представляете себе сегодня всего размаха постигшего страну бедствия. Французы были несчастны. Де Голля они не знали, к тому же он был далеко. Петен же был окружен ореолом былой славы. И он находился тут же, рядом; они нуждались в нем и до известной степени принимали миф о защищающем французов маршале Петене, подобно тому как позднее немалое число французов приняли миф о де Голле как о человеке, который с июня 1940 года, в тот момент, когда он находился в Лондоне в почти полном одиночестве, был законным представителем Франции» [1, с. 122]. Арон был активным участником французской политики, умным ее наблюдателем и комментатором, а потому мог себе позволить не следовать мифам, которые выстраивают участников событий так, что по одну сторону сплошь стоят герои, а по другую подлецы.

В наибольшей мере к теме данного эссе относится именно период оккупации, режима Виши и так называемой «национальной революции», к идеологам которой в равной степени относят и монархиста Моррасса, и французских коллаборационистов, часть которых прямо заявляла о своей принадлежности к фашистам. Я воздержусь от оценки Французского государства¹, как назывался режим Виши, и деятельности маршала Петэна. В целом я согласен с тем, что сказано в книге А.Н. Бурлакова [4]², и лапидарной формулировкой В.Э. Молодякова: «Называть режим Виши *фашистским* – пропагандистский трюк со словом “фашизм” как синонимом всего плохого» [21, с. 26]. Согласен и в том, что этот режим не был и тоталитарным, о чем периодически пишут либеральные историки, а не соглашусь с тем, что они отрицают применительно к режиму прилагательное «коллаборационистский». Добровольно или нет, возглавляемое Петэном правительство вынуждено было в условиях оккупации сначала двух третей, а с ноября 1942 года и всей территории Франции, сотрудничать с оккупантами (а что еще означает слово *collaboratio*?). Подавляющее большинство французов к 1940 году одобряло режим – в условиях военного поражения и краха всех институтов III Республики трудно было ожидать иного. Но единства в рядах тех, кто поддерживал режим, не было. Одни смирялись с необходимостью претерпевать оккупацию, но тайно уже думали о том, как воспользоваться возможностью от нее избавиться. И адмирал Дарлан (объявленный «наследником» Петэна), и генерал Жиро отправились в Северную Африку для налаживания контактов с англичанами и американцами, получив благословение Петэна. В правительство входили министры, вроде Ж. Ле Руа Ладюри, идеолога крестьянского кооперативного движения, который после конфликта с Лавалем покинул пост и вскоре оказался в Сопротивлении и даже сражался в рядах маки. Разумеется, хватало оппортунистов, к каковым относился и премьер-министр Лаваль. Он мог в 1935 году как министр иностранных дел республики заключать договоры, направленные против Германии, но столь же рьяно воспользовался возможностью получить высший пост в государстве. Однако были и те, кто сделался убежденным и последовательным сторонником нацизма. Одни из них поверили, что защищают европейскую цивилизацию от «иудео-большевизма»³ и вступили в дивизию «Шарлемань», остатки которой защищали рейхстаг в конце апреля 1945 года. Но у программы полного подчинения Гитлеру и нацификации Франции были сторонники: политики,

¹ Признаваемого при возникновении большинством иностранных государств, включая США и СССР.

² С той оговоркой, что правомерная цель – справедливо оценить самопожертвование Петэна – совсем не требует планомерного очернения генерала де Голля на десятках страниц книги.

³ Известная двухчасовая речь Геббельса в феврале 1943 года не сводилась к требованию тотальной войны, более половины ее составляло обоснование: вермахт защищает ценности европейской цивилизации.

вроде Ж. Дорио и М. Деа, прекрасно образованные идеологи – Дриё Ла Рошель, покинувшие “Action française” Бразийак и Ребате. Иначе говоря, режим Виши соединял разнонаправленные, а иной раз и враждебные друг другу силы.

По существу, последний том трилогии В.Э. Молодякова представляет собой подробнейший разбор столкновений Морраса с этими идеологами, которые обрушивались не только на него, но и на весь режим Виши как недостаточно радикальный, сдерживающий своими католическими и консервативными законами и идеями «национальную революцию». Одни только непрерывные обвинения Морраса в «юдофильстве» и «католической реакции» показывают, в чем расходились консерваторы и фашисты. Первые желали возвращения к «старому доброму времени», которому соответствовал девиз Виши: «Труд, Семья, Отечество», вторым требовалась фашистская революция, включающая в себя целый набор социалистических требований. Ни монархия, ни церковь, ни армейский офицерский корпус, ни капиталисты Франции не должны были избежать революционной трансформации.

Не проследивая личную судьбу Ш. Морраса в эти годы и после освобождения Франции, равно как и суд над ним, который приговорил его к пожизненному заключению, отмечу только то, что процесс над ним был политически мотивированным, а приговор, включавший в себя обвинения в доносительстве, подрыве морального духа армии и народа, опирался на фальсифицированные свидетельства и на явные передержки. В любом случае, приговор этот не был пересмотрен, а фигура Морраса периодически вызывает споры. В последний раз, когда его включили в 2018 году в ежегодник коммеморации как крупного прозаика, поэта и литературного критика, а затем из него выбросили. Последний заметный скандал во французских СМИ по поводу Петэна и режима Виши был десяток лет назад, когда тогдашний публицист (ныне лидер небольшой праволиберальной партии) Э. Земмур выпустил очередную книгу по истории, в которой написал, что режим Виши способствовал сохранению жизни десятков тысяч евреев, поскольку имеющих французское гражданство он не давал вывозить в нацистские концлагеря. Это вызвало невероятный шум, а так как самого Земмура, еврея родом из Северной Африки, да еще поклонника генерала де Голля, обвинить в антисемитизме было трудно, то телеканалы вновь обрушились на тогдашний Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Но это не столь уж интересные обстоятельства сегодняшней Франции, в которой президент Макрон прославился словами: «Французской культуры не существует».

Никаким фашистом Моррас не был – это очевидно для всякого объективного историка. Можно критиковать его по множеству поводов, но и коллаборационистом его не назовешь – В.Э. Молодяков включил в третий том своей трилогии в качестве приложения текст Морраса «К истории этих четырех лет», по которому можно судить о всей его ненависти к коллаборационистам. Его не сломило и тюремное заключение, он оставался верен роялизму. Но даже при симпатии к непоколебимости убеждений Морраса, стоит все же оценить их содержание. А оно соответствует воззрениям тех монархистов, которые почти ничего не вынесли из той трансформации всех европейских обществ, которая произошла на протяжении XIX века. На межвоенный период, о котором у нас шла речь, эти взгляды уже были архаикой. Можно с интересом читать произведения Л. Тихомирова и В. Розанова, можно восхищаться какими-то периодами правления достойных монархов, только все это *унесенные ветром* времени идеи, формы и институты. Если вспомнить название еще одного романа, то всякому тоскующему по ним монархисту следует сказать себе самому: «Домой возврата нет». В XX веке встречались примечательные последователи Морраса, вроде колумбийца Н. Гомеса Давилы, но они хотя бы понимали, что с их воззрениями не следует лезть в политику.

Мы же вновь обнаруживаем ситуацию взаимодействия, иной раз взаимного влияния, но в принципиальных вопросах расхождения, полемики и борьбы консерваторов с

фашистами. Во Франции на это наложились особенности периода немецкой оккупации, когда фашисты стали получать всемерную поддержку и немалое число бывших монархистов перешло в их ряды. Тем не менее противоречия не только сохранились, но и обострились: нечто подобное мы видим еще в нескольких странах. В Румынии авторитарный режим Антонеску силой подавляет фашистов из «Железной гвардии», а Гитлер закрывает на это глаза, поскольку ему важен военный союзник. Напротив, в Венгрии, когда это понадобилось Берлину, фашисты («нилашисты») свергают режим Хорти. Во всех этих случаях очевидно присутствие двух разных сил, консервативной и фашистской, причем всякий раз одни из них «реакционеры», а другие – «революционеры».

Всякому историку понятно, что за словами «фашизм» и «консерватизм» стоят многообразные движения и лидеры, партии и режимы. Невероятная девальвация слова «фашизм», когда им обозначаются чрезвычайно далекие от исторических прообразов явления, не отменяет того, что оно применимо не только к организациям и политикам прошлого, но и к настоящему времени. Конечно, требуется «взять в скобки» шумные кампании в прессе и на каналах телевидения, столкновения в американских кампусах, где одни студенты входящего в Ivy League университета считают «фашистом» премьер-министра Израиля, а другие относят к «фашистам» боевиков ХАМАС. Можно вспомнить о том, какое число военных диктатур в Латинской Америке записывали в «фашистские» в СССР, как лет 30 назад одни газеты у нас писали о «красно-коричневых» коммунистах, а подконтрольные последним отвечали словами о «фашистской клике Ельцина». Такое словоупотребление не является привилегией политиков и подконтрольных им журналистов. Однажды во вполне академической работе историка мне доводилось читать о фашистском тоталитаризме римского императора Диоклетиана. Читая и слушая нынешних записных «антифашистов», вспоминаешь сказанное Гумилевым: «И дурно пахнут мертвые слова». Однако если убрать все эти информационные шумы, мы все равно сталкиваемся с неоднородностью тех политических образований, которые покрываются этим термином.

Мы обратили внимание лишь на некоторые общие черты движений 1920–1930-х годов. Во-первых, фашистские партии и группы всегда именовали себя революционными, что соответствовало и самосознанию их участников. По своему составу – по крайней мере до прихода к власти – эти партии были мелкобуржуазными, в них объединялись крестьяне и ремесленники, лавочники и служащие, студенты и офицеры. Их вожди были выходцами из таких «разночинцев», не слишком образованные самоучки, восполнявшие отсутствие университетского диплома обильным чтением. Исключения имелись: Геббельс защитил диссертацию, Примо де Ривера был маркизом и с блеском окончил юридический факультет, но чаще всего они не принадлежали к культурной буржуазии или дворянству. Протест тех, кто обладает умом и энергией, против тех элит, которые препятствуют вертикальной мобильности сильных и активных, – вот непереносимая черта фашистского движения. Культ молодости и здоровья, марширующие колонны и спортивные праздники, театральные действия и бодрая музыка – все это хорошо видели современники.

Протест был направлен не только против «старческих» элит, но и против капитализма тогдашней эпохи, власти денег и тех групп, которые с нею ассоциировались. В одних странах к ним были сразу отнесены евреи, в других антисемитизм почти не присутствовал, но всевластие «процента», разорение и вытеснение мелких собственников задевало миллионы. По другую сторону стояли организованные в профсоюзы и партии рабочие, интересы которых чаще всего не совпадали с интересами крестьян и городского низшего среднего класса, а идеология и программы пугали: обобществления и перехода в наемные рабочие опасались, а перед глазами стоял пример гражданской войны, коллективизации и прочих «прелестей» СССР.

И капитализм, и социализм в чистом виде отвергались, хотя признавалась роль и частной собственности, и требований рабочих. Предложенная в Италии модель корпоративного государства принималась не всеми фашистскими партиями, да и сам корпоративизм совсем не является исключительно фашистской доктриной. Уже упоминался католический корпоративизм, который был задействован в Португалии. После Второй мировой войны социал-демократы Швеции и Норвегии держались «социального корпоративизма», тогда как в Австрии, во времена коалиции католиков и социал-демократов эти два направления соединились. Государство вмешивается как активный посредник в конфликты интересов нанимателей и наемных работников. Сегодня такое вмешательство кажется чем-то чуть ли не само собой разумеющимся, но сто лет назад казалось «новым словом».

Интервенционизм государства предполагает наличие могущественного и авторитетного центра силы. Свойственный далеко не только фашистам национализм той эпохи способствовал продвижению культа авторитарной сильной власти, а наследием только что прошедшей Первой мировой войны был яростный шовинизм, сопровождающийся поисками внешнего и внутреннего врага. Фашистские партии всегда были массовыми движениями с элементами военной дисциплины, с охранными отрядами, иногда десятками тысяч штурмовиков. Свой «новый национализм» фашисты отличали от «старого национализма» либералов, поскольку речь они вели не о совокупности наделенных правами граждан, а о *народе* и его священной воле. Дальше всех в этом отношении пошли нацисты с *Volksgemeinschaft*, выводимом из расового единства, но и в романских странах слова «народ» и «воля народа» были определяющими для идеологии. В каком-то смысле фашисты были наследниками Руссо и Робеспьера с их *volonté générale*, и все они были в чем-то «народниками». Здоровые и свежие силы народа противопоставлялись декадансу отживших свое элит.

К таковым относились и монархисты, и консерваторы всех оттенков. В «Доктрине фашизма» Муссолини писал: «Фашистское отрицание социализма, демократии, либерализма не дает, однако, права думать, что фашизм желает отодвинуть мир ко времени до 1789 года, который считается началом либерального века... Фашистская доктрина не избирала своим пророком де Местра. Монархический абсолютизм отжил свое, и также, пожалуй, всякая теократия» [цит. по: 27, с. 231]. И монархисты, и либеральные консерваторы, и сохранившиеся дворянские роды, и епископы католической церкви знали (или хотя бы догадывались), что они являются следующими за коммунистами и социалистами целями. Пока что они нужны как образованные офицеры и чиновники, завтра на их место станут возвращенные из активистов фашистских партий выдвиженцы.

Конфликт с консерватизмом был неизбежным, но просто отложенным, пока идет совместная борьба с «красными». Поэтому во всех перечисленных в данной статье случаях союз консервативной контрреволюции с фашистским движением вел не просто к конкуренции, но к войне за выживание. Выше речь шла не о всяком консерватизме, поскольку далеко не все европейские консерваторы пошли даже на временную коалицию с фашизмом. Сохранившиеся после крушения европейских династий монархисты на такой союз пошли, они были готовы братья за оружие – прошедшие фронт Первой мировой войны офицеры, юнкера и студенты из *Freikorps* входили как в монархические, так и в фашистские военизированные организации. И те, и другие были яростными националистами, а в случае Италии и Германии еще и империалистами, притязавшими на обширные территории других государств. В зависимости от соотношения сил у этих двух групп решался вопрос о господстве одной из них. В Португалии вообще не было революционной фашистской партии, движения снизу недовольных масс – квалификация режима как «фашистского» является досужим вымыслом коммунистической пропаганды. В Испании военные отряды вместе сражались против республики, на короткое время возникший режим имел черты фашистского, но затем «Фаланга» сделалась не слишком важной частью

бюрократического аппарата, а режим эволюционировал в сторону авторитарной диктатуры без привнесенных фашизмом элементов. Во Франции даже в условиях немецкой оккупации фашисты остались маргиналами, имевшими вес только благодаря своим хозяевам; правда, и монархисты к тому времени приблизились к положению небольшой группы идейных последователей талантливой, но отжившей свой век писателя и мыслителя.

Только в Италии и в Германии мы имеем дело с фашистскими режимами, прошедшими свой путь от зарождения через захват власти и подчинение себе всего населения своих стран к гибели. Консерваторы были почти целиком подчинены режимам, сотрудничали с ними, хотя скрытая оппозиция все же присутствовала. В Италии негативный опыт войны привел к тому, что сохранившиеся силы монархистов сумели сместить дуче. В Германии последним отчаянным актом было покушение на фюрера. Почти вся немецкая элита пошла на союз с нацизмом, а потому разделила его судьбу.

Консерваторов отличает от любых революционеров стремление сохранить связь с прошлыми поколениями, с местными и национальными традициями. Им изначально присуще недоверие к этатизму, уничтожающему особенности провинций, поселений, ассоциаций. Универсальное не отвергается уже потому, что в большинстве своем европейские консерваторы были христианами, но хоть республика якобинцев, хоть подчиняющая себе все общество либеральная рыночная экономика, хоть встраивающий всех в плановое хозяйство, подчиненное единственной коммунистической партии, были их оппонентами. В споре с либералами они указывали на несостоятельность индивидуализма, но коллективизм тоже осуждался, поскольку в центре внимания всегда было особенное, органические «промежуточные структуры», как говорят нынешние исследователи: семья, род, город, провинция, церковь, профессиональная гильдия и т.п. Поэтому им был чужд и фашизм с его верой во всемогущество государства и скованной «железной дисциплиной» партии с мрачной героикой бунта. Тот же фашистский корпоративизм выглядел как карикатура на социальную доктрину церкви: синдикаты служили средством для всевластия вождя и партии.

Периодически среди консерваторов появляются те, кто задает вопрос: «А имеется ли сегодня хоть что-то заслуживающее сохранения?». Его ставили представители немецкой консервативной революции, ставят ныне ее наследники¹. Вероятно, среди поддерживавших фашизм интеллектуалов имелось известное число отчаявшихся монархистов – на это обратил внимание А. Мальро, заметивший, что фашистами делаются утратившие всякое доверие прошлому и оставшиеся без традиции люди. Но для большинства консерваторов того времени фашистские партии оставались движениями плебса, с вульгарными вождями, командующими темными массами. Даже чаще других писавшие и говорившие о своей верности христианству испанские фалангисты казались неискренними: католицизм их привлекал лишь как составная часть имперского прошлого. Н.А. Бердяев правомерно сравнивал Морраса с Великим Инквизитором в романе Достоевского [53].

Для всякого консерватора остается вопрос о том, как мог возникнуть подобный союз с движением, которое отрицало и христианскую веру, и традицию с ее моральными и культурными нормами, и присущую консерваторам осторожность в делах внешней и внутренней политики. Можно сослаться на ошибки политиков, на общую с фашистами «реакционность», на угрозу большевизма и т.п. Г. Раушнинг в «Революции нигилизма» указал на одну из значимых причин: «Консерватизм как старой, так и новой чеканки стал жертвой ошибки, отождествив собственные политические принципы с лозунгами крайнего шовинизма. Консерватизм, конечно, национален, но не шовинистичен. Шовинизм есть революцион-

¹ См., например, статью А. де Бенуа с соответствующим названием: «Что сохранять? Двусмысленность консерватизма», вошедшую в одну из его последних книг [31, с. 295–305].

ная по своему происхождению форма якобинства. Консерватизм и монархизм видят свою задачу в установлении и сохранении долговременного порядка, тогда как национализм в узком смысле слова есть динамит, подрывающий всякий порядок». Вышедшая из Первой мировой войны Европа была беременна новой войной, в которой почти неизбежным было столкновение победителей и потерпевших поражение, желавших реванша. А так как на эти противоречия держав накладывалась охватившая Европу гражданская война, временные союзы противостоящих друг другу движений и идеологий не были чем-то неожиданным.

Монархический консерватизм, существовавший со времен Французской революции и доживший до Второй мировой войны, умер вместе с ее завершением. В европейских странах с сохранившимися королевскими династиями, монархии представляют собой иногда непонятно зачем сохраненный реликт, иногда ценный институт, способствующий памяти о прошлом народа. В странах, прошедших через революции, казни монархов и их семей, ситуация иная. Мы видим, какие безумные споры ведутся у нас между теми, кто доныне не решил, в какое прошлое следует возвращаться, – в дореволюционную монархию, либо в СССР. В отличие от тех, кто желает отречься от настоящего во имя реставрации прошлого, консерваторы принимают необратимость потока времени. Они полагают, что нужно помнить о былом, изучать его и ценить лучшее, не забывая и о темных страницах истории.

Литература

1. Арон Р. Пристрастный зритель. М.: Праксис, 2006.
2. Арон Р. Мир и война между народами. М.: Notabene, 2000.
3. Базанов П.Н. «Проникновенный монархист»: С.С. Оболенский: младоросс, публицист, редактор // Новый журнал. 2015. № 280.
4. Бурлаков А.Н. Петэн: Последний великий француз. СПб., 2022.
5. Вебер М. Власть и политика. М., 2017.
6. Вебер М. Политические работы. М.: Праксис, 2003.
7. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000.
8. Гейден К. Путь НСДАП: Фюрер и его партия. М.: ЭКСМО, 2004.
9. Генри Э. Гитлер над Европой. Гитлер против СССР. М. Русский раритет, 2020.
10. Гизо Ф. О средствах правления и оппозиции в современной Франции (1821) // Классический французский либерализм. М.: РОССПЭН, 2000.
11. Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1990. СПб.: Наука, 2003.
12. Джентиле Э. Фашизм: История и истолкование. СПб.: Владимир Даль, 2022.
13. Доносо Кортес Х. Речь о диктатуре. СПб.: Владимир Даль, 2023.
14. Ильин И.А. О Сущности правосознания / И.А. Ильин // Общее учение о праве и государстве. М.: АСТ, 2006.
15. Манхейм К. Консервативная мысль / К. Манхейм // Избранное: Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994.
16. Местр Ж. де. Рассуждение о Франции, М.: РОССПЭН. 1997.
17. Мёллер Х. Веймарская республика: Опыт одной незавершенной демократии. М.: РОССПЭН, 2010.
18. Молер А. Фашизм как стиль. М.: Толерантность, 2007.
19. Молодяков В.Э. Шарль Моррас и "Action française" против Германии: от кайзера до Гитлера. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2020.
20. Молодяков В.Э. Шарль Моррас и "Action française" против Третьего Рейха. СПб.: Нестор-история, 2021.
21. Молодяков В.Э. Шарль Моррас и "Action française" против Германии: «подлинное лионское сопротивление». М.; СПб.: Нестор-история, 2022.
22. Моррас Ш. Будущее интеллигенции. М.: Праксис, 2003.
23. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945): Национал-социализм и большевизм. М.: Логос, 2003.
24. Пленков О.Ю. Государство и общество в Третьем Рейхе: Реальность диктатуры. СПб.: Владимир Даль, 2017.
25. Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха: Культура на службе вермахта. М.: ОЛМА, 2009. С. 266–284.
26. Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.

27. Устрялов Н.В. Италия – колыбель фашизма. М.: Алгоритм, 2012.
28. Уткин А.Н. Первая мировая война. М.: Алгоритм, 2002.
29. Цицерон Марк Туллий. О государстве. М.: АСТ, 2022.
30. Шмитт К. Политический романтизм. М.: Праксис, 2015.
31. Benoist, Alain de. Contre le libéralisme: La société n'est pas marché. Monaco: Rocher, 2019.
32. Beyme, Klaus von. Politische Theorien im Zeitalter der Ideologien. 1789–1945. Wiesbaden: Westdeutsche Vlg., 2002.
33. Eley G. Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland. Munster: Westfälische Dampfboot, 1991.
34. Elias N. Studien über die Deutschen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
35. Evola J. Maschera e volto dello Spiritualismo Contemporaneo. Roma, 1971.
36. Fischer F. Bundniss der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen in Deutschland 1871–1945. Dusseldorf: Droste, 1979.
37. Fischer S. Griff nach der Weltmacht. Die Kriegzielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914–1918. Dusseldorf: Droste, 1961.
38. Fletcher R. Revisionism and Empire: Socialist Imperialism in Germany 1897–1914. London: Allen and Unwin, 1984.
39. Frei N. Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945. München, dtv.
40. Maurras Ch. Mes idées politiques. Paris, 1937.
41. Maurras Ch. Dictateur et Roi: Manuel de l'Enquete sur la Monarchie. Paris, 1928.
42. Mommsen H. Alternative zu Hitler: Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes. München, 2000.
43. Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. München; Zurich: Piper, 1984.
44. Plessner H. Die verspätete Nation. Stuttgart: Kohlhammer, 1959.
45. Remond R. La droite en France: De la Première Restauration à la Ve République. Paris: Aubier Montaigne, 1992. Vol 1.
46. Schieder W. Faschismus als Vergangenheit: Streit der Historiker in Italien und Deutschland // Der historische Ort des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Hrsg. von W.H. Pehle, Fischer, 1990.
47. Sternhell Z. Maurice Barres et nationalisme français, Paris: Colin, 1972.
48. Sternell Z. La droite révolutionnaire: les origines françaises du fascisme 1885–1914, Paris: Seuil, 1984.
49. Sueiro D. y Diaz Nosty B. Historia del franquismo. Madrid: Sarpe, 1985.
50. Turner, Henry A. German Big Business and the Rise of Hitler. New York: Oxford Univ. Pr., 1985.
51. Winkler H.-A. Deutschland vor Hitler: Die historische Ort der Weimarer Republik // Der historische Ort des Nationalsozialismus.
52. Михайлов P.B. Новые тенденции в идеологии русофобии // Международные тенденции. 2015. № 3. С. 98–107; [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old2.intertrends.ru/rubrics/fiksiruemtendentsiyu/journals/ekonomicheskije-trudnosti-politicheskoy-sistemy/articles/novye-tendentsii-v-ideologii-rusofozii>
53. Бердяев H.A. Католичество и "Action française" // Путь. 1928. № 10. С. 115–123; [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old2.intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/728/8KihQUel7L.pdf>

Аннотация. Главной темой статьи является взаимоотношение сохранявшегося во всех странах континентальной Европы 1920–1930-х годов монархического консерватизма и фашизма. Рассматриваются как case studies те страны, которые обычно описываются как «фашистские режимы» XX века – Италия, Германия, Португалия, Испания. К ним добавляются случаи русской эмиграции, в которой возникли фашистские и квазифашистские партии, а также «режим Виши» в оккупированной Франции 1940–1944 годов. В каждом из этих случаев решающее значение для судеб режимов играли сохранившиеся консервативные элиты, которые в случае Германии до конца служили фашизму и были ему почти целиком подчинены, свергли режим (Италия), подчиняли себе фашистское движение (Испания) или вообще не испытывали серьезного влияния фашизма (Португалия). После Второй мировой войны подобные союзы стали невозможны уже по той причине, что исчез сам монархический консерватизм, являющийся наследием XIX столетия.

Ключевые слова: фашизм, революция, контрреволюция, консерватизм, монархия, корпоративное государство.

Alexey M. Rutkevich, Doctor of Philosophy, Professor, Scientific Adviser, Faculty of Humanities, Higher School of Economics – National Research University. E-mail: arutkevich@hse.ru

Conservatism and Fascism in Europe in 1920s – 1930s.

Abstract. The subject of the present article is the relationship between fascism and the monarchic conservatism, existing in the period between two World wars in continental European countries. As the case studies are taken the states, which are usually described as "Fascist regimes" of the 20th century: Italy, Germany, Portugal and Spain. Added to them are two special cases: Russian emigration, within which there were fascist and quasi-fascist parties, and "Vichi regime" in the occupied France of 1940-1944. In each of those cases the decisive role in the destiny of the regimes was plaid by the surviving conservative elites: in Nazi Germany they were nearly totally subjugated and gone under with the regime; in Italy they participated in overthrowing the regime; in Spain they overrode the fascist party themselves; and in Portugal there was no serious influence of fascism on them. After the Second World War such alliances became impossible simply because the monarchical conservatism itself inherited from the 19th century ceased to exist.

Keywords: Fascism, Revolution, Counterrevolution, Conservatism, Monarchy, Corporate State.